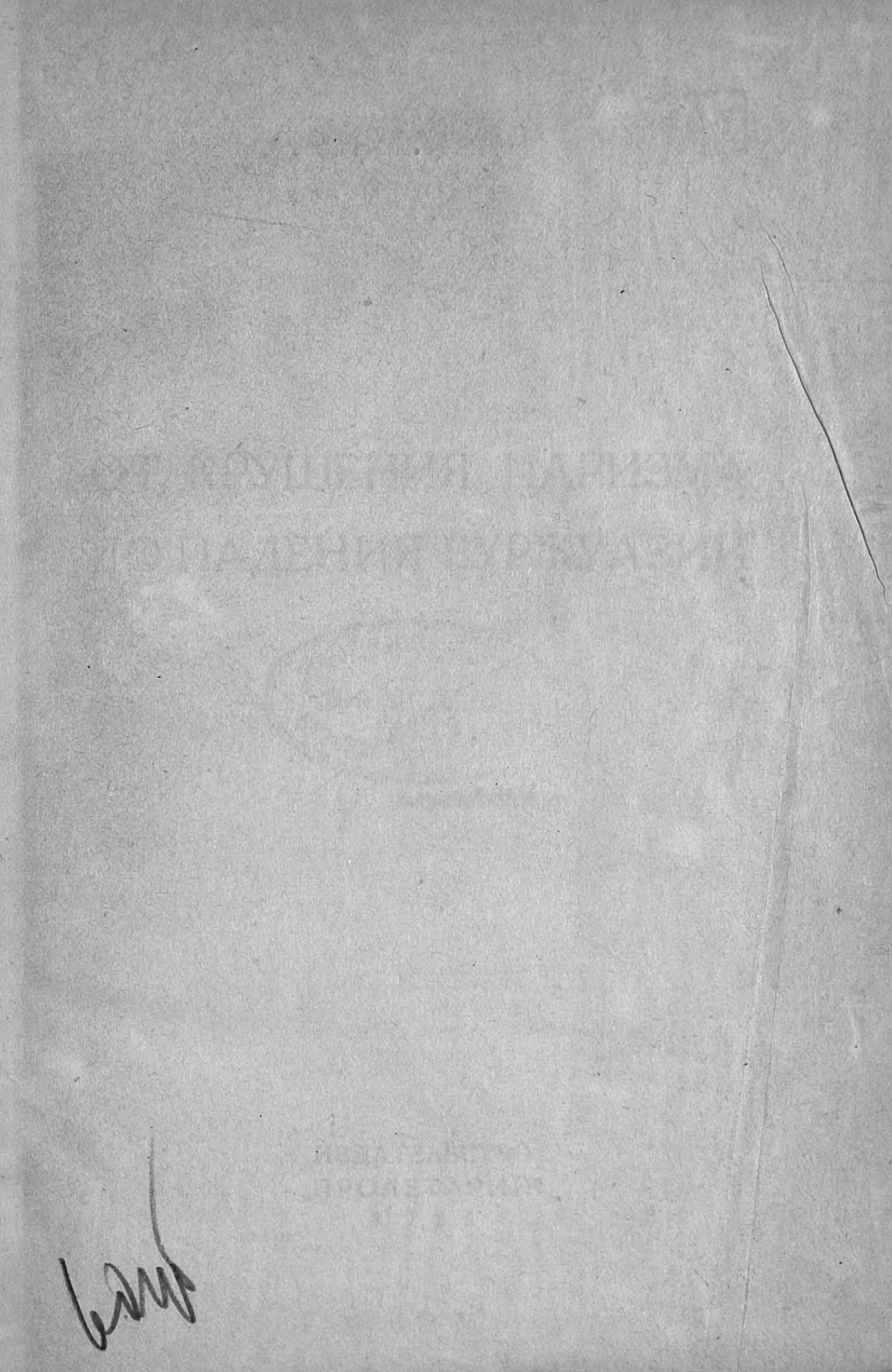
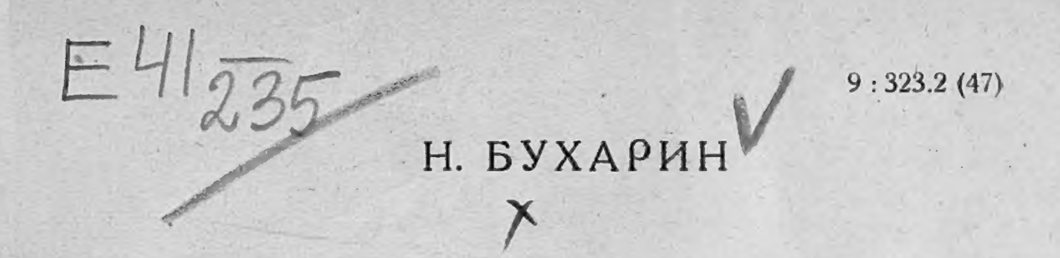
Н. БУХАРИН

ОТ КРУШЕНИЯ ЦАРИЗМА ДО ПАДЕНИЯ БУРЖУАЗИИ

8

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРОЛЕТАРИЙ»





Н. БУХАРИН

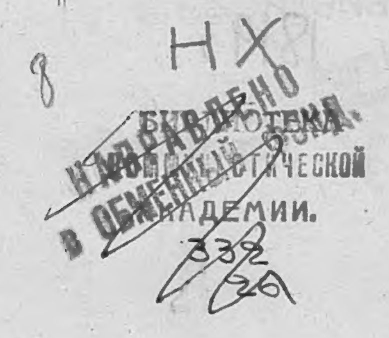
ОТ КРУШЕНИЯ ЦАРИЗМА ДО ПАДЕНИЯ БУРЖУАЗИИ





ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПРОЛЕТАРИЙ“
1 9 2 5

Типо-Цинкография
Кооперативного Издательства
„ПРОЛЕТАРИЙ“
Харьков, Пушкинская № 40



Укрглавлит № 12802 Зак. № 532 Тираж 10.000

Ненавистному буржуазии,

горячо любимому пролетариатом,

вождю рабочей революции,

товарищу

В. Ульянову

посвящает автор.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Настоящая работа является переизданием двух брошюр т. Бухарина. Первая — „Классовая борьба и революция в России“ — выпущена была московским областным комитетом РСДРП (большев.) в июле 1917 года вскоре после событий 3—5 июля в Петрограде. Брошюра т. Бухарина была ярким партийным документом загнанной в подполье керенщины партии пролетарской революции.

Вторая брошюра тов. Бухарина — „От диктатуры империализма к диктатуре пролетариата“ — вышла в издании издательства ЦК РСДРП (больш.) „Прибой“ в начале 1918 года и доведена до Октябрьского переворота.

Обе брошюры в одной книжке выпущены были в России книгоиздательством „Коммунист“ в Москве в конце 1918 г., а также неоднократно переиздавались за границей: на немецком, французском, английском и др. языках. Все эти иностранные издания выпущены были под названием: „От крушения царизма до падения буржуазии“, под которым выходит и настоящее издание.

Мы не сомневаемся, что для ленинского набора, для юной смены, идущей в ряды партии из рядов Комсомола, для наиболее сознательной части беспартийной рабочей массы, крепко спаявшейся с коммунистической партией, настоящая книжечка представит огромный интерес. Не меньший интерес представляет предлагаемое нами читателям произведение тов. Бухарина для старой большевистской гвардии подпольного периода нашей партии.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА И РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ.

Бешеный бег русской революции, непрерывная смена величайших исторических картин, полная трагизма борьба пролетариата, то идущего впереди всех, как победитель, то предательски объявляемого вне закона под торжествующий гогот совокупной canaille bourgeoise, — все это говорит об одном: окончательная победа русской революции немыслима без *победы революции международной.*

Ни одна из прежних революций не находилась в такой связи с событиями в других странах. *Мировая война*, которая разбила экономические связи и довела государственные антагонизмы до максимума, которая привела к краху II Интернационал, в то же время поставила судьбу каждой отдельной страны в наитеснейшую зависимость от судьбы других стран.

Победа социализма — единственный выход для истерзанного и окровавленного мира. Но прочная победа российского *социалистического пролетариата* невозможна без пролетарской революции в Европе.

Маркс писал когда-то о Франции 48—50 г.г.: „Задача социалистического переворота не разрешается во Франции, она здесь только ставится на очередь. Она не может быть разрешена внутри национальных границ. Разрешение этой великой задачи станет возможным лишь тогда, когда мировая война поставит пролетариат во главе народа, господствующего над всемирным рынком, во главе Англии“ *). Mutatis mutandis—это верно и для сегодняшнего дня.

*) *Карл Маркс* „Классовая борьба во Франции от 1848 до 1850 г.“. изд. М. Малых, стр. 83.

Революции—локомотивы истории. Бессменным машинистом этого локомотива даже и в отсталой России может быть лишь пролетариат. Но пролетариат не может уже оставаться в пределах имущественных отношений буржуазного общества. Он идет к власти и к социализму. Однако, эта задача, которая „ставится на очередь“ и в России, не может быть разрешена „внутри национальных границ“. Здесь рабочий класс натыкается на непреодолимую стену, которая может быть пробита только тараном *международной рабочей революции.*

И лишь поскольку пролетариат сознает это и организуется в классовую партию интернационального социализма, он является не только в хотении, но и в действительности преобразующей мир революционной силой.

Неизбежность именно такого развития мы и постараемся доказать.

Классовые группировки до марта 1917 г.

После того, как в ноябре 1905 года Петербургский Совет Рабочих Депутатов объявил царскому правительству финансовый бойкот, а летом 1906 года разогнанная царем Первая Дума призвала народ к неплатежу налогов и податей, казна российской империи испытывала величайшие затруднения. Государственная рента пала чрезвычайно. Началась финансовая паника. Коковцев бросился за границу в поисках поддержки. Эту поддержку он нашел. Напрасно некоторые наивные демократы взывали к славным традициям республики и революции. Не кто иной, как республиканские банкиры Франции, спасли трон кровавого деспота. Высокий процент весил больше на капиталистических весах, чем республиканская „gloire“ *). *Французские банкиры помогли царю задушить русскую революцию.*

При Николае II господствующим классом, в собственном смысле этого слова, т. е. классом, стоящим у кормила

*) „Gloire“—„слава“, „честь“; ходовое словечко буржуазных крикунов и патриотических кликуш.

правления, был класс крупных помещиков *полукрепостнического типа.* Эти господа не вели своего хозяйства. Унаследовав от своих отцов и дедов-крепостников огромные имения и пользуясь растущим обезземелением крестьян, они предпочитали сдавать свои земли крестьянину-пауперу, получая с него „голодную аренду" и ставя его в кабальную зависимость. Будучи крупными *землевладельцами*, они насаждали в стране мелкое *хозяйство* нищих крестьян, которых они всемерно обирали. Будучи классом паразитическим par excellence, они имели вполне обеспеченный твердый доход, ибо громадный спрос на землю со стороны безземельного крестьянства непрерывно гнал вверх арендные цены. Удержать свое „священное право" на землю было основным стремлением этого класса. Плоть от плоти крепостничества, он не мог не быть ультра-реакционным. Идеологом этих зубров справедливо считался Марков 2-й, для которого виселица и кнут были идеальными устоями российского государства; их политическим агитатором являлся Пуришкевич, возвысивший истинно-русскую площадную ругань до степени своего обычного политического жаргона. Верхи организации этого класса, кроме государственной власти, покоились на так называемых „Съездах Объединенного Дворянства", низы—вербовались из самых грязных отбросов общества, наполнявших воровские притоны, публичные дома и чайные „Союза Русского Народа".

Если главной опорой трона служило „благородное дворянское сословие", то *промышленная буржуазия* лишь отчасти касалась власти. Только одна ее фракция, а именно та, которая была теснейшим образом связана с казенными заказами и финансовыми операциями правительства, которая несмотря на свою *техническую отсталость*, процветала благодаря совместному с государственной машиной разворовыванию „национального достояния", только эта фракция буржуазии входила составной частью в аппарат управления страной. *Технически*

прогрессивная буржуазия, идеологически представляемая так называемым „либеральным обществом“, была на положении „оппозиции его величества“, бессильно хныкающей о „подавлении самодеятельности“, о „недостатке инициативы“, об „отсутствии простора для развития живых сил страны“.

Мелкая буржуазия, и в первую голову *крестьянство*, не только была совершенно устранена от всякого влияния на ход „государственных дел“, но подвергалась преследованию всякий раз, как ее „общественное мнение“ пыталось выйти наружу. Основным ядром крестьянства были (и остаются по сей час) крестьяне-пауперы, с маленькими наделами, ведущие хозяйство на арендованной земле, периодически голодающие и отдающие все свои силы помещику и государству. Земельный голод и просто голод—основная черта их бытия. А стремление получить помещичью землю так же характерно для них, как для помещика-зубра стремление сохранить ее в своем полном распоряжении.

Наконец, если при Николае классом угнетающим par exellence были помещики-зубры, то классом угнетенным par exellence был *пролетариат*. Не потому, что жизненный уровень рабочего класса был ниже уровня жизни деревенских пауперов. Во многих случаях он был, несомненно, выше. Но рабочий класс уже давно вышел на арену политической борьбы. Он выступил застрельщиком революции, источником эманации революционной энергии. Вот почему вся тяжесть репрессий обрушивалась в первую голову на пролетариат.

За период 1907—1914 г.г., т. е, после того, как революция 1905—1907 г.г. была затоплена в крови декабрьских повстанцев в Москве, и волна карательных экспедиций прошла по всей России, *революционный* метод разрешения противоречий российской действительности временно отступил на задний план. Тем не менее, произошел ряд изменений в подпочве общественной жизни, в ее *экономике*.

В области *сельско-хозяйственного производства* заметно усилились капиталистические элементы. Мобилизация земли выразилась в переходе некоторой части прежних помещичьих земель в руки наиболее зажиточных слоев крестьянства. Перепуганные аграрным движением представители „благородного дворянского сословия" ликвидировали кое-где свои дедовские поместья, перепродав их (непосредственно или — что было для них более выгодно—через Крестьянский банк) крестьянской буржуазии и среднему крестьянству. С другой стороны, процесс усиления тонкой прослойки крестьянских „верхов" происходил и благодаря так называемому *„аграрному законодательству" Столыпина.*

Этот государственный муж, заслуживший почетное название „вешателя", покрывший страну виселицами, вскормивший у своего полицейского сердца Азефа, возведший систему сыска и провокации на высоту основного государственного принципа и сам погибший жертвой этой системы, тщетно пытался играть роль русского Бисмарка, от которого он отличался лишь отсутствием ума (это, впрочем, не помешало представителям русского либерализма, господам Струве и Изгоеву, почтительнейше припасть к жандармскому сапогу сего героя). Сторонник откровенно-циничной политики „нажима на закон", Столыпин пытался поставить „ставку на сильных" и своим законом 9 ноября думал путем разграбления общинных земель создать наряду с дворянской *мужицкую* „опору трона" в лице класса „мироедов". Столыпин проиграл игру. Но все же его политика, несомненно, усилила капиталистически-крестьянские слои в деревне.

Еще большее значение имели изменившиеся *условия мирового сельско-хозяйственного рынка.* Сельско-хозяйственный кризис, с 80-х годов угнетавший европейское хозяйство и вызванный наплывом дешевого заокеанского хлеба, исчез. Стремительное падение цен сменилось еще более стремительным их повышением. Европейские аграрии воспрянули духом. Дороговизна жизни, этот

бич для городского пролетариата, есть источник величайших барышей для монополистов земли. Экспортная торговля хлебом и расширение *капиталистического* сельского хозяйства становились более выгодными, чем выколачивание голодной аренды. Таким образом, следствием изменившихся условий мирового рынка был рост вывоза, техническая организация вывозной торговли en grand (постройка элеваторов на американский образец и т. д.) и переход помещиков к ведению рационального капиталистического хозяйства. Дикий помещик-зубр превращался в современного „агрария". Грубый крепостник отступал на задний план перед „цивилизованным" и „просвещенным" помещиком-капиталистом, который понимает толк и в сельско-хозяйственных машинах и в чилийской селитре; выколачивание голодной аренды мало-по-малу заменялось более утонченной системой эксплоатации путем наемного труда; крепостническая живодерня уступала место капиталистической системе и, вместо грузной фигуры Маркова 2-го, на сцену все более продвигался надушенный, в белых перчатках „prince Lvoff" *).

В области *промышленности* за время контр-революции 1907—1914 г.г. народился и сформировался *финансовый капитал*, создавший синдикаты и тресты, спаявший их с банками, охвативший ряд промышленных отраслей тугим кольцом монополистических объединений. Крестным отцом российского финансового капитала был *финансовый капитал „заграницы"*: французский, немецкий, английский и бельгийский капитал,— его ценностная субстанция и его персональное выражение в лице экспортированных директоров промышленных предприятий и банковых заправил усердно „работали" на русской почве и немало способствовали ускоренному росту новейших организационных форм европейского и американского капитализма. Вместе с финансовым капитализмом возникла и новая, доселе невиданная формация *империалистской*

*) Князь Львов.

буржуазии, политической выразительницей которой стала так называемая „партия народной свободы“. Прежняя либеральная оппозиция, опиравшаяся на технически-прогрессивную буржуазию, превратилась в партию воинствующего империализма, добродушный либеральный профессор с народническими симпатиями, вроде старика Чупрова или Каблукова — в злобного защитника великодержавности, в холодного почитателя божественной „государственности“ и, главным образом, милитаристских аттрибутов. Списанный с немецкого образца („Grosses Deutschland“) лозунг „Великой России“ (под „величием“ в этих случаях разумеется разбойное удушение всех малых—а по возможности и остальных—народов), панславистская агитация, усиленная пропаганда создания „национальных культурных ценностей“ (в первую голову армии и флота) и „выявления национального лица“— вся эта империалистская дребедень нашла себе первого апостола в персоне ренегата социал-демократии—Петра Струве. Сборник „Вехи“, журнал „Русская Мысль“, тесный союз „науки“, в лице г. Струве, с „промышленностью“, в лице московского воротилы и мецената П. Рябушинского, стали служить теоретической крепостью российского империализма. Его признанным политическим вождем явился лидер кадетов, и тоже профессор, Милюков. Ибо правильно сказано, что на всякую подлость можно найти своего профессора.

Так под крылом бешеной контр-революции нарастала „прогрессивно-капиталистическая“, империалистская оппозиция, опиравшаяся на „просвещенных“ помещиков и финансовый капитал.

Начиная с весны 1911 года, на фоне намечающегося промышленного подъема возобновляется экономическая борьба *рабочего класса*. Эта борьба, все разгораясь, принимает ярко выраженный политический характер. В 1913—1914 г.г. цифра стачечников поднимается почти до соответствующей цифры „безумного“ 1905 года. В то время, как формируется империалистски-патриотическое

кликушество либералов, ясно намечается волна новой революции. Петербург покрывается баррикадами. Это происходит как раз тогда, когда к царю приезжает на поклон президент французской республики г. Пуанкаре на предмет подготовки к войне. И его республиканские уши поражает крик петербургского пролетариата: „Долой царя!“.

Разразившаяся *мировая война* срывает революцию осенью 1914 года. Подготовленная коронованными мясниками „цивилизованных“ стран бойня создает повсеместно колоссальную силу милитаризму. Милитаристский террор берет в железо непокорный пролетариат. Крах II Интернационала и предательская измена оппортунистской социал-демократии расслабляют революционную волю. А империалистские вожделения господствующих классов создают теснейший блок между ними, объединяя помещиков-зубров с их „просвещенными“ противниками. Разве частные разногласия заслуживают внимания перед общим делом международного грабежа? Разве не нужно сперва общими усилиями убить лакомую дичь, а уж потом делить ее между собой? И разве не является общей „священной“ задачей создание единого фронта собственников на случай восстания „взбунтовавшихся рабов“? Так образуется гражданский мир, Burgfrieden, от одного названия которого на десять верст несет запахом юнкерского стойла. Идиллическая картина достигает своего апогея, когда кадет Милюков публично „на страх врагам“ целуется с Пуришкевичем, отпрыском тех самых организаций, которые руками наемных убийц простреливали когда-то черепа коллег г-на Милюкова: Иоллоса и Герценштейна. Тем не менее, этот праздник поистине христианского всепрощения имел глубокий социальный смысл: это был заговор разбойничьей шайки, все члены которой клялись в верности друг другу на крови, пролитой ими во время прежних взаимных раздоров. А что речь шла именно о разбое, об этом поведал не кто иной, как сам Милюков-Дарданелльский. Этот запевала российского

империализма, уже давно бывший вхожим в царское министерство иностранных дел, выставил довольно откровенную „программу войны“, которая сводилась к захвату Галиции и „Угорской Руси“, Познани, части Восточной Пруссии, Константинополя и Дарданелл, Адрианополя, берегов Мраморного моря, Турецкой Армении и т. д. *Империалистические вожделения финансового капитализма совпали с полуфеодальным хищничеством царизма. Общность цели слила их в единый блок.*

Этот блок, однако, оказался недолговечным. Не потому, конечно, что буржуазия воспылала свободолюбием, а потому, что государственная власть крепостников оказалась слишком вороватым и ненадежным приказчиком для финансового капитала. Помещики-крепостники являются по существу дела классом, стоящим вне сферы производительного труда: „общественная функция“ этих дворянчиков заключается в проедании и прокучивании сумм, получаемых ими путем беспощадного обирания крестьян, причем степень „культурности“ их определяется исключительно географическим расположением ресторанов, где они наслаждаются, и национальностью кокоток, которыми они обладают. Но если таков весь класс крепостников, то в еще большей степени это относится к его квалифицированной части, к *правящей бюрократии* и ко *„двору“*. Двор Николая стал каким-то притоном необузданного и противоестественного разврата, где нездоровый эротизм переплетался с религиозным помешательством, а распутные оргии чередовались с богослужениями. *Верхи государственного управления по существу были точной копией с воровского притона Веры Чебыряк.*

Когда на самых высоких ступенях общественной лестницы разыгрывались отдельные акты безобразной драмы, из которых каждый имел свое собственное название („мясоедовщина“, „сухомлиновщина“, „распутиниада“),— оппозиционная буржуазия, окопавшаяся в земском и городском союзе, а отчасти в Государственной Думе, шептала на ушко: „безобразие! разврат!“, а народ кричал: „Долой

изменников! долой царя! долой воров и предателей!". Империалистская буржуазия вела пропаганду смещения царя и заигрывала с циничным бурбоном Николаем Николаевичем; мелкая буржуазия волновалась и негодовала; пролетариат ясно выставлял свой лозунг: „Долой царизм, да здравствует демократическая республика!"

Уже в первую революцию (1905—1907) стало ясно, что основной движущей силой революционного потока является *пролетариат*. И именно эта относительная зрелость пролетариата, который выступил со своими классовыми целями и под руководством своей классовой партии — социал-демократии,— именно это обстоятельство отбросило так называемую „прогрессивную" буржуазию в лагерь контр-революции. Уже в эпоху первой революции кадеты были близки к власти, вели переговоры с царским правительством о портфелях. Поражение революции отодвинуло эту перспективу на несколько лет.

Но если в 1905—1907 г.г. пролетариат выступил признанным вождем в борьбе против царизма, то это повторилось с еще более резким подчеркиванием во время войны. Пролетариат был единственным классом, который пытался выступить против предержащих властей в открытой уличной схватке. Расстрелы рабочих в Костроме, Иваново-Вознесенске и т. д. были злобной контр-атакой со стороны царизма. Но война систематически подымала рабочих на восстание: отмена фабричных законов, усиленное давление всех полицейских органов, разгром рабочих организаций, дороговизна и голод, истребление на полях сражений,—все это вело к прямому возмущению пролетарских масс.

Но и широкие массы *крестьянства* не меньше страдали от войны, которая оттягивала рабочие руки, реквизировала скот и в конец подрывала крестьянское хозяйство, давая ему, вместо сельско-хозяйственного инвентаря, обесцененные бумажки. „Мира, хлеба и свободы!"— раздавалось в городских кварталах. „Мира, земли и воли!"— глухо отвечала деревня.

Наконец, была еще третья сила, которая заметно волновалась. Эта была *армия.* Предаваемая агентами царя, его министрами и его чиновниками, обкрадываемая со всех сторон, предоставленная разнузданному произволу черносотенных генералов, из которых многие „вышли в люди“, натренировавшись на карательных экспедициях против рабочих и крестьян, — эта армия не могла оставаться спокойной. Большинство ее—крестьяне и рабочие. Слабеет милитаристская спайка, исчезает на минуту „страх перед начальством“ и со всей силой начинает проявляться классовый состав армии. Веяние революции коснулось и этой *последней* опоры трона. Вызвавши к жизни доселе инертные крестьянские массы, бросив миллионы в водоворот войны, царизм не мог уже справиться с теми силами, которые он вызвал. В *марте 1917 года,* в месяц, с которым связано столько героических событий мировой истории, были срублены обе головы у хищного двуглавого орла.

Март — апрель.

23—24 февраля начались забастовки и демонстрации в Петербурге. После первых стычек с полицией, *войска* перешли на сторону народа. Засады городовых - пулеметчиков обезоружены или расстреляны. Сопротивление незначительных верных царю войсковых частей сломлено. На дворцах тирана взвился флаг революции.

1 марта, в годовщину убийства Александра II, революция одержала победу, и в Москве *2 марта* Николай в железнодорожном вагоне, бледный и потрясенный, подписал отречение от престола. Самодержавная власть, прикрытая фиговым листком Государственной Думы, была задушена восставшим народом. Говорят, что поставленный перед фактом своего низложения Николай беспомощно задал вопрос: „Так что же мне делать?“ Делать уже было нечего. Дни самодержавия были сочтены.

Колоссальный аппарат угнетения, заржавевший от густых пятен крови самых лучших представителей страдающего народа, рухнул под напором *стихии*. Молекулярные процессы, все время происходящие в глубине народных масс—пролетариата, крестьянства, городской мелкой буржуазии и армии, накопили такое количество революционной энергии, что подавляющее большинство оказалось на стороне восставшего народа.

Катастрофически быстрое падение самодержавия застало врасплох борющиеся классы. Быстрота падения была обусловлена всем ходом событий, громадным перевесом социальных сил, направленных против царизма. Но она удивила не только тех, кто падал, но и тех, кто вызвал это падение. Революционная стихия остановилась на минуту, пораженная своим собственным успехом.

Пролетариат, с беззаветным героизмом шедший впереди всех, строивший свои организации в подполье, вышел наружу всей своей массой. Наиболее организованная и дисциплинированная революционная сила, он не имел все же организации *масс*.

Еще в меньшей степени можно было говорить об организации мелкой буржуазии, в частности, *крестьянства*. Наконец, *армия*, почти единодушно выступившая против своего верховного командующего и „обожаемого вождя", разрушивши *царскую* дисциплину и организацию, не успела еще создать своей революционной организации.

Единственной *организованной с самого начала* силой вынырнула *либерально-империалистская буржуазия*. Меньше всего она была двигателем революции. Наоборот. Ее вождь Милюков презрительно называл знамя революции „красной тряпкой". Это он выкинул знаменитый лозунг: „Лучше поражение, чем революция". Еще по опыту 1905 года либеральная буржуазия знала, что революция в России опасна не только для царизма, но и для „Bildung und Besitz" („образованных и владеющих"). Вот почему она была „ответственной оппозицией

его величества". Однако, теперь вопрос был поставлен ребром: поддержать прямо правительство Николая или нет. Крах царизма был ясен. Либеральным буржуа оставалось „перейти на сторону народа", пустив в ход бывшие у них организации — партии „прогрессивного блока", и в первую голову партию „народной свободы", всевозможные „не политические" организации и, наконец, ядро *Государственной Думы.*

По *внешности* произошло какое-то всеобщее братанье. Закоренелые монархисты спешно перекрашивались в республиканцев; домовладельцы снимали трехцветные флаги и на их место водружали красный флаг переворота; кокарды государственных чиновников заменялись красными значками, и даже бывшие околоточные ходили с красной ленточкой в петлице наспех переделанной шинели.

„Революция" стала вдруг магическим словом, к которому почувствовали нежность те, кто вчера не находил достаточно бранных слов для оплевывания этой революции. Председатель черносотенно-октябристской Думы Родзянко, преисполняясь сентиментально-„братских" чувств к „народу", признавал, что он „по совести" не может ничего возразить против требований этого народа. Известный организатор черной сотни, Шульгин, отъявленный монархист и душитель тех самых „живых сил", о которых теперь начали говорить не иначе, как захлебываясь от энтузиазма, заявил по поводу требования Учредительного Собрания: „Если бы мне сказали два дня тому назад, что я выслушаю это требование и не только не буду против него возражать, но признаюсь, что другого исхода нет, что эта самая рука будет писать отречение Николая II,—два дня тому назад я назвал бы безумцем того, кто бы это сказал, и себя считал бы сумасшедшим. Но сегодня я ничего не могу возразить. Да, Учредительное Собрание на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования". Все эти господа— от националистов до левых кадетов включительно—

которые в лучшем случае желали небольшого дворцового *переворотика* и пары жалких „конституционных гарантий“, скрежетали зубами, но „на людях“ расшаркивались направо и налево перед той самой „красной тряпкой“, которая пугала их больше, чем пугает быка мантия торреадора.

Таким образом, идиллическая внешность абсолютно не соответствовала реальной действительности, и звон „общенациональной“ *фразы* не мог не ослабить, ни тем более уничтожить *фактов классовой борьбы.*

Более организованная буржуазия выдвинула из своей среды *Временный Думский Комитет*, как центральный орган своих сил. В ту же ночь, почти в те же часы, в Петербурге возник *Совет Рабочих Депутатов*, занявший сразу руководящее положение среди пролетарских и мелкобуржуазных масс.

Два обстоятельства нужно отметить, чтобы понять, почему власть, завоеванная *народом*, перешла к временному правительству *империалистской буржуазии:* во-первых, здесь сыграла роль относительно большая организованность этой буржуазии; во-вторых, в этом повинен оппортунизм вождей рабочего класса, вернее, его господствующего тогда крыла. Те самые „лидеры“, которые впоследствии пошли в полуимпериалистское министерство, став в позу непримиримой революционности, боялись взять власть в свои руки. Для них русская революция была, прежде всего, революцией *буржуазии*; для их трусливой мещанской мысли всякий „лишний“ шаг в сторону от господства этой буржуазии был нарушением священных прав „буржуазной“ революции; для них непременной обязанностью революционера было запугивание рабочего призраком запуганного буржуа. Эта тактика мещанского „социализма“ была первородным грехом русской революции.

Так первое *Временное Правительство* вышло из недр черносотенно-кадетского Думского Комитета. Исполнительный Комитет Совета отклонил также вхождение

в министерство, и только „сторонник дисциплины“ Керенский вторично нарушил постановление своих коллег (первый раз этот „с.-р.“ пошел в Думу вопреки решению своей партии), пролагая себе путь к власти. Поэтому кабинет почти целиком явился организацией современной финансово-капиталистической буржуазии. Александр Иванович *Гучков*, лидер октябристов, представитель московского купечества, „военный в штатском платье“— как он сам себя характеризовал, тот самый Гучков, который во время московского восстания организовал милицию в помощь адмиралу Дубасову, расстреливавшему рабочих; Павел Николаевич *Милюков*, лидер Партии Народной Свободы, идеолог российского империализма, сторонник международного грабежа под соусом „освобождения малых народностей“, преданный друг и раб английского капитала, хитрый, беззастенчивый, с сильной волей и с профессорской эрудицией применительно к подлости; *А. И. Коновалов*, крупнейший фабрикант и биржевик, штемпелеванный представитель предпринимательских организаций; г. *Терещенко* — отпрыск сахарных синдикатчиков,—таковы самые значительные фигуры „революционного“ правительства, возглавляемого *князем Львовым*, представителем просвещенного помещичьего дворянства; рядом с ним поместились Некрасов, Годнев, другой Львов и вышеупомянутый гражданин Керенский.

Однако, как ни труслива была тактика мелкобуржуазного социализма, оказавшегося тогда организатором-руководителем большинства петербургского пролетариата, все же структура власти не могла не быть *компромиссной*, т. е. не могла не отражать фактической власти рабочего класса и мелкой буржуазии. Временное Правительство состояло из буржуа pur sang. Но наряду с ним стоял Исполнительный Комитет Рабочих (а затем и Солдатских) Депутатов.

Петербург господствовал над Россией; рабочие и солдаты господствовали над Петербургом. Орган власти петербургских рабочих и солдат стал, таким образом,

наряду с Временным Правительством *общерусским центром власти.* Двоецентрие политической власти отражало социальную противоположность между цензовой буржуазией и помещиками, с одной стороны, мелкой буржуазией, крестьянством и пролетариатом—с другой. Совет признал знаменитую формулу поддержки правительства „поскольку—постольку“: „поскольку оно в согласии с Советом будет неуклонно идти в направлении к упрочению завоеваний революции и расширению этих завоеваний“. Соглашательской тактике было положено прочное основание.

Первым актом Временного Правительства должно было бы быть провозглашение *демократической республики.* Но прокламировать демократическую республику— это значит сразу и бесповоротно порвать с прошлым. А разве можно быть „порядочным человеком“ и рвать „безумно и бессмысленно“ с „историческими традициями“? И разве не лучший оплот против „разбушевавшейся стихии“, „фанатиков“ и „анархии“ можно найти в умеренной конституции монархии?.. Противоположность между империалистской буржуазией и революционной демократией сказалась здесь со всей силой. На совместном заседании Исполнительного Комитета и Временного Комитета Думы боязливые представители рабочих и солдат предлагали воздерживаться „от действий, предрешающих форму правления“. Представители Партии Народной Свободы (очевидно, из большого уважения к этой народной свободе) предлагали оставить *романовскую монархию.* Член Исполнительного Комитета Стеклов говорил по этому поводу на Совещании Советов *): „Я должен заявить категорически, что представители кадетов до конца и последние оспаривали этот пункт и не хотели ни за что согласиться не только на провозглашение демократической республики, чего мы не хотели насильно навязывать, но даже на нашу формулировку... Мы знали, что они хотели нам, победоносной русской демократии, навязать

*) „Известия Петроградского Совета“, № 32.

романовскую монархию, не просто монархию, и именно романовскую, и в частности Милюков настаивал на том, чтобы провозгласить императором наследника Алексея, а регентом великого князя Михаила Александровича. Тщетно мы заявляли, что никакая политическая группа не имеет права предвосхищать мнение всего русского народа... тщетно мы заявляли им, что мы простираем свое политическое благоразумие (!) до того, что, несмотря на имеющуюся в наших руках физическую силу, не заставляем их эту республику провозгласить и просим (!!!) только не провозглашать монархии... Несмотря на все это, по этому пункту соглашение не состоялось".

У „благоразумных" вождей рабочего класса и мелкой буржуазии не хватило смелости, „несмотря на физическую силу", требовать *декрета о республике!* У лицемерных защитников народной свободы хватило наглости на другой день после победоносного восстания требовать реставрации *романовской монархии!*

Член Временного Правительства, октябрист Гучков, и член Думского Комитета, черносотенец Шульгин, с благословения кадета Милюкова, уже отправились в ставку, чтобы, „охраняя родину от анархии", т. е. предавая революцию и продавая народ, заключить договор с бандитами царизма. Но Михаил Романов оказался не таким храбрым, как Павел Милюков. Ему все же, очевидно, импонировала „физическая сила", стоящая за Советом. Сделка между цензовиками-буржуа и обитателями осиного гнезда Романовых не состоялась.

Соглашение между Советом и Временным Правительством содержало в себе, кроме аннулированного фактически пункта о форме правления, еще следующие 8 пунктов: об амнистии; о свободе слова, печати, союзов, собраний и стачек; о немедленных мерах по созыву Учредительного Собрания; о замене полиции выборной милицией; о местном самоуправлении на основе четыреххвостки; об отмене всех сословных национальных и вероисповедных ограничений; о неразоружении

и невыводе революционных войск из Петрограда и, наконец, о самоуправлении армии.

Временное Правительство опубликовало в этом духе декларацию. Но его члены уже тогда начали тактику, которая потом расцвела пышным цветом,— тактику *саботажа.* Вскоре Исполнительный Комитет увидел, что господа министры отнюдь не спешат проводить в жизнь возвещенную программу. Он предъявил тогда два требования: *немедленный закон об амнистии* и *декрет против реакционных генералов,* которые явно подготовляли контр-революционный переворот.

Закон об амнистии был вскоре опубликован. Открыто сдать его в архив не решился бы и сам г. Милюков. Ведь еще первая Государственная Дума, детище кадетов, выставляла это требование! Ведь нельзя же сразу продолжать политику прокурора Павлова, которому даже перводумские либералы единодушно кричали „Долой палача!"

Политические „преступники" получили амнистию. Эмигранты должны были возвратиться в новую Россию на государственный счет. Но подлость российского империализма в наше время должна быть умножена на подлость империализма международного.

Ллойд-Джордж и члены *английской* охранки внесли корректив в распоряжения (по крайней мере, в *гласные* распоряжения) российского министра иностранных дел. Русская революция грозила нанести удар не только царизму, она грозила разжечь пожар *международной революции,* разрушить священное единение трудящихся с их эксплоататорами и с империалистским разбойничьим государством. И если российский либерализм еще стыдился и *боялся* хватать за шиворот представителей революционного интернационализма и пускать против них методы борьбы, достойные лакеев Абдул Гамида, то он это сделал через посредство своих *англо-французских* коллег и охранных чинов старых *(царских)* заграничных консульств. Из Швейцарии, Франции,

Англии, Америки ряду лиц выезд фактически был воспрещен. Многих русских граждан арестовали „союзные" охранники, оправдывая свои разбойные приемы грязной клеветой, на которую способен только остервенелый буржуа.

По поводу своего ареста английскими властями Троцкий писал: „Английской дипломатии, вообще говоря, нельзя отказать ни в осторожности, ни в декоративном чисто внешнем „джентельменстве". Между тем, заявление английского посла о полученной нами немецкой субсидии явно страдает отсутствием обоих этих качеств: оно низко и глупо в равной степени. Объясняется это тем, что у великобританских политиков и дипломатов есть две манеры: одна—для „цивилизованных" стран, другая—для колоний. Сэр Бьюкенен (английский посол в Петербурге), который был лучшим другом царской монархии, а теперь перечисляется в друзья республики, чувствует себя в России, как в Индии или Египте, а потому не усматривает никаких оснований стесняться" *).

Это как нельзя более правильно характеризует отношения между союзниками. Оказалось, что знаменитое „право наций на самоопределение", которое с такой помпой возвещалось *на словах* империалистами всех стран, не признается *на деле* ни французским, ни английским правительством даже по отношению к *России!* Оказалось, что милитаристский хлыст, которым Англия оперирует в своих *колониях,* сечет и „независимых" *русских* граждан! Оказалось, что если бронированный кулак германских империалистов еще только вожделеет к России, то английский империализм рассматривает ее, как *уже* завоеванную страну! Да здравствует „pénétration pacifique" **).

---

*) *Л. Троцкий.* „В плену у англичан". Изд. „Книга". Петроград.

**) „Pénétration pacifique"—„мирное проникновение". Так называют империалисты свое вторжение в слабые страны, которые подготовляет окончательное порабощение этих стран и подчинение их вооруженной силой.

Под давлением органов революционной демократии арестованные были выпущены. Другим, однако, союзники“ не дали проезда. Наоборот, они заготовили для них приказы об аресте. Таким образом, ряд лиц был *вынужден* ехать через Германию.

Если в деле с возвращением амнистированных эмигрантов явно наметилась линия контакта между империалистскими правительствами союзников и скрытыми пока вожделениями только что вылупившегося из яйца революции, но тем не менее, тоже империалистского Временного Правительства, то еще более ярко сказалась природа Временного Правительства в его отношении ко второму требованию Исполнительного Комитета, *об объявлении вне закона реакционных генералов.* Со всех сторон стекались известия, что ставка—центр организующейся контр-революции. Солдаты возмущаются реакционностью офицеров. Генерал Эверт уже 6 марта издает приказы от имени Николая Николаевича с призывом поддержать Романовых. Генерал Алексеев (тот самый с которым потом целовался гражданин Керенский) угрожает военно-полевым судом „революционным бандам“ (!), едущим из Петрограда. Генерал Иванов, который в критические дни привел войска для усмирения питерских повстанцев, развивает свою деятельность после Петербурга в Киеве!

Тем не менее, Временное Правительство под предлогом выискивания соответствующих статей уголовного кодекса тянуло канитель. Декрет так и не был издан. Исполнительный Комитет Совета сам стал принимать более или менее решительные меры, поскольку вообще можно говорить о решительных мерах со стороны оппортунистического большинства.

Началась эпоха *самоорганизации* революционных масс: пролетариата, солдат, крестьян. Петербургский Совет мог уже в значительной мере опираться на организованную силу. Авторитет Советов—в особенности Петербургского Совета—вырос в очень значительную величину. Но в той же мере росло и глухое

сопротивление Совету со стороны империалистской буржуазии и ее органа—Временного Правительства. В особенности упорствовал военный министр Гучков. Комиссары Исполнительного Комитета встречали систематическое противодействие новых „ведомств“. Буржуазия ясно чувствовала в растущей мощи Советов угрозу самой основе своего собственного существования, В самом деле, эти плебеи, чего доброго, захватят все в свои руки! Где гарантии того, что их удовлетворит простая перемена политической формы? [illegible]!

Если господину Милюкову не удалось *сразу же* посадить, вместо Николая, Алексея, то нужно позаботиться о такой возможности в будущем. Временное Правительство стало вести переговоры с коронованными родственниками Николая в Англии, чтобы переправить туда бывшего царя. Но когда Исполнительный Комитет получил от железнодорожных служащих сведения, что два литерных поезда с царской семьей уже идут на Петербург, чтобы двигаться далее к границе, то он мобилизовал петербургский гарнизон, занял вокзалы, разослал повсюду телеграфный приказ: „Задержать и арестовать!“ Спасти „святое семейство“ не удалось.

Но еще более, чем вопрос о форме *государственного устройства*, беспокоил буржуазию вопрос об отношении к *империалистической войне*. Как ни боролась буржуазия, главным образом, в лице Партии Народной Свободы против политической формулировки народной свободы, т. е. против демократической республики, тем не менее, этот вопрос был для нее второстепенным. И при республике можно вести грабительскую политику. Чему-нибудь да можно поучиться в этом отношении у „свободной Америки“ и „прекрасной Франции!“ Чистка конюшен царизма обещала даже более экономное ведение войны.

И „*союзники*“ отлично понимали это. В одной из своих речей Ллойд-Джордж прямо заявил по поводу поражения царских войск, что немецкие пушки разбивают цепи, которые мешают русскому народу вести войну. Точно

так же, как империалисты России ничего не имели бы против „переворотика“ и со скрежетом зубовным, но все же помирились бы и на республике, английские и французские империалисты „признали“ бы эту республику. Совсем другое дело, если поставить ребром вопрос о войне. В этом *сущность* финансового капитализма. Посягнуть на войну — это значит посягнуть на капиталистическую сверх-прибыль, на право мирового разворовывания. А что может быть священнее этого права? Изменник родине тот, кто осмеливается протестовать!

Вместе с *империалистской буржуазией* вокруг лозунга „война до конца“ объединились все фракции господствующих классов. „Правые“ исчезли со сцены, точно они были физически уничтожены. Их многочисленные организации со специфическими названиями, их субсидировавшиеся царским правительством газеты, их „деятели“ в роде Сашки Косого и проч. — потеряли свой яркий черносотенный характер. Весь этот аппарат, формально полураспущенный, фактически перешел на службу общебуржуазного блока, идейным и политическим представителем которого являлась *Партия Народной Свободы*. Если при царизме во имя общей цели *буржуазные империалисты* обслуживали крепостников, то теперь во имя той же цели *крепостники* стали обслуживать буржуазных империалистов. Блок „зубров“ и „прогрессистов“, как Феникс, вновь восстал из пепла, развеянного мировой бойней. Но гегемония перешла к финансовому капиталу с его „европейскими“ приемами мирового душительства.

Мелкая буржуазия, *крестьянство* (и крестьянская *армия)* отнюдь не ставили себе империалистских, завоевательных целей. Русское крестьянство не сформировалось еще по типу немецкого Grossbauer‘a, союзы которого представляют по существу сельско-хозяйственные картели, острием высоких монополистических цен направленные против пролетариата. Вместо блока с аграрием, у нас борьба против агрария, борьба за землю. Война

ен только не сулит крестьянину барышей, которые она сулит финансовому капиталу; она подрывает крестьянское хозяйство, отнимая у него работников и рабочий скот. Крестьянин знает, что земля есть у него *под рукой:* это земля помещика. Увлечь крестьянина захватом каких-то неведомых земель невозможно. В этом отношении он—узкий эмпирик. И вся сила его мысли направлена на близкую и доступную ему почву: на землю помещика. Это он покрывал ее своим потом. Это он обрабатывал ее своим убогим плугом. Это он, голодный, платил за нее столько денег помещику. Он должен получить ее по праву.

Несколько иначе обстояло дело с городской мелкой буржуазией. Часть ее, связанная с финансовым капиталом связью *сотрудничества,* являясь по существу придатком организаций крупного капитала, повторяет все лозунги чистого империализма. Сюда же примыкает в значительной степени так называемая интеллигенция (врачи, адвокаты, учителя,—словом, лица „свободных профессий"). Наоборот, полупролетарские слои, непосредственно страдающие от войны, готовы были протестовать против „проклятой бойни".

Подавляющее большинство мелкой буржуазии города и деревни было, таким образом, *против* империалистской войны. Но оно органически не могло усвоить себе точку зрения *революционного Интернационала.* Поскольку крестьянство опирается на *свою* землю и на землю, которую оно хочет сделать *своей,* оно должно *защищать* эту землю от „внешнего врага", поскольку ему нет дела до захватов чужеземных владений, постольку ему нет дела и до того, что его *защитительная* война может быть связана *с империалистскими* планами союзных банкиров и превратиться на деле в *захватную* войну всей коалиции. С одной стороны, мелкая буржуазия протестует против империализма, с другой—она поддерживает его. С одной стороны, она готова бороться с милитаризмом, а с другой — она почтительно преклоняется

перед насквозь милитаристской государственностью капитала. С одной стороны, она ненавидит этот капитал, барышников, торгующих людьми, как лошадьми, спекулянтов, банкиров, заводчиков, подрядчиков, всех этих крупных воров, которые слетелись, как вороны на падаль; с другой—она идет с ними на соглашение, памятуя об „общенациональном деле“. *Гнет капитала* заставляет ее мечтать о „царстве свободы“. *Узы собственности* тянут ее вниз. Тактика ее по существу своему не может не быть жалкой, а иногда и предательской. Идеология ее—это мещанский социализм, социалистические *фразы* прежде всего. Революция, — но „не слишком далеко“. Борьба с контр-революцией,—но не запугивать буржуазию. Социализм,—но „лет через двести“. Братство народов,—но как бы союзные банкиры не обиделись. Социализм *социалистов-революционеров* есть выражение этой мелкобуржуазной расхлябанности.

Социальное положение *пролетариата* освобождает его от уз, налагаемых собственностью. По существу дела рабочие не имеют отечества, а имеют лишь цепи наемного рабства, подвинчиваемые этим отечеством. *Государственная организация капитала,* выступающая под таким псевдонимом, внушает ему почтение лишь постольку, поскольку он находится в идеологическом плену у мелкой буржуазии или крупного капитала. Часто рабочий класс находится в таком плену. Но только он, как класс, *может* выйти за пределы этой зависимости. Только он может подняться до точки зрения, которая ставит интересы международной революции выше интересов „своего“ отечества, т. е. национально-государственной организации капитала. Только он поэтому может быть классом последовательно революционным, беспощадно критическим и неуклонно интернационалистским. Для мелкой буржуазии шатания—ее *натура.* Для пролетариата—это болезнь. Мелкая буржуазия никогда не ведет последовательной и решительной линии. Пролетариат всегда почти имеет фракцию несгибаемой революционности.

Движение русских рабочих имеет обе такие фракции: социал-патриотическую и мелкобуржуазную по своей идеологии фракцию *меньшевиков* и последовательно-революционное крыло—*большевиков.* Наметившийся сразу блок эсеров и меньшевиков является выражением их идейного мелкобуржуазного средства. „Против захватов, но за сохранение обязательств перед союзниками и за защиту страны"—таков должен быть лозунг мелкой буржуазии и части рабочих. „Против всех союзов с какими бы то ни было капиталистами, против войны, ведущейся в союзе с ними",— была позиция революционного пролетариата.

Временное Правительство социально опиралось на империалистскую буржуазию, но его поддерживал также и англо-французский капитал, имевший в лице сэра Джорджа Бьюкенена своего энергичного приказчика, а в лице Павла Милюкова своего верного контрагента. Собственная линия Временного Правительства была линией *союзного империализма.*

Совет Рабочих и Солдатских Депутатов опирался не только на рабочий класс, но в значительной мере и на мелкую буржуазию (крестьяне-солдаты). Мелкобуржуазная часть Совета и часть рабочих, идущих еще за мелкой буржуазией, составили *советское большинство,* политически выражаемое эсерами и меньшевиками.

Это определило политическую линию Совета. 14 марта появилось знаменитое обращение: „*К народам всего мира*".

Воззвание „К народам всего мира" было первым официальным документом, который говорил народным массам всех воюющих стран о действительном положении вещей и о действительном настроении пролетарско-крестьянских масс России. До тех пор все сведения были явно маргариновые. Капиталистические круги „союзников" сперва радовались перевороту, спасшему Россию от германофильства ближайших родственников Георга V. При известии об образовании Советов орган финансовой олигархии „Times" уже забеспокоился. И вот Временное Правительство для успокоения встревоженных ожиревших

сердец господ из лондонского Сити дарило мир слащавыми сообщениями, проникнутыми духом самого отъявленного раболепия, которое было тем более комично, что сообщения эти исходили от патентованных представителей идеи российской великодержавности. Кадетские же корреспонденты, контролировавшиеся ведомством г-на Милюкова, плясали, как комнатные болонки перед барыней, и почтительно егозили у ног английских империалистов, трусливо изображая русскую революцию, как мирный переворот, полной законности которого мешало лишь, пожалуй, присутствие некоторых статей в российском уголовном кодексе, вкравшихся, очевидно, по недосмотру. Но если „Воззванию" удалось преодолеть рогатки российского империализма, то оно натолкнулось на жесточайшее сопротивление со стороны „свободолюбивых" союзников. Правительство *Франции*, которое еще живет процентами с капитала Великой Революции и при каждом удобном и неудобном случае божится лозунгами этой революции, запретило манифест, и он дошел до французского народа, как нелегальный листок, изданный социалистической оппозицией.

Самый факт воззвания не мог не импонировать. Во время войны — революционный орган власти рабочих и *солдат* обращается ко всем народам, в том числе и ко „внешнему врагу!" Это ли не крах милитаристского варварства?

Однако, манифест страдал глубоким внутренним противоречием. С одной стороны, он призывал к прекращению войны, к борьбе за демократический мир, с другой—он вменял в обязанность войну, как войну защитительную, несмотря на сохранение тайных договоров с союзниками, договоров явно захватнического характера; с одной стороны, он звал народы—и особенно народы центральных держав — на восстание против своих правительств, а с другой—молчаливо предполагал гражданский мир с своей собственной буржуазией, мир, нашедший такое яркое выражение в поддержке

империалистского Временного Правительства. Словом, он воплощал ту самую двойственность и половинчатость, которая свойственна *мелкобуржуазному* „социализму“. In nuce *он содержал уже возможность подчинения демократии захватническим целям империалистских акул.*

Но он выдвигал формулу мира без аннексий и контрибуций. Он выражал несомненную жажду этого мира. В общем и целом он был против империалистской войны и апеллировал к социалистическому пролетариату. Этого было вполне достаточно, чтобы обеспечить Совету злопыхательную—но до поры до времени скрываемую—ненависть буржуазии.

Под непосредственным идейным влиянием „Воззвания“ прошли *фронтовые с‘езды:* в Минске, в Пскове и др. Представители армии, боевой военной силы, единодушно высказались против захватнической политики. Лозунг международного братства приобрел, казалось, колоссальное количество приверженцев. Жажда мира была видна даже для слепого. *Братанье в траншеях* служило достаточно ярким тому доказательством.

Почти одновременно с Минским съездом состоялось *всероссийское совещание Советов Рабочих и Солдатских Депутатов,* подтвердившее позицию Петербургского Совета. Но это же совещание попалось на словесную удочку Временного Правительства, одобрив его *внешнюю* политику. Дело в том, что 28 марта Временное Правительство под влиянием революционной демократии опубликовало *обращение к гражданам России,* где „целью свободной России“ объявлялось „установление прочного мира на основе самоопределения народов“, а не „насильственный захват чужих территорий“. Господа, которые privatim на всех перекрестках выступали за захваты и барабанили до бесконечности о победном „конце“, которые—подобно Милюкову—сделали себе политическую карьеру уже в передней царского министра Сазонова, эти люди выступили теперь за „демократический мир“. Нужно было обладать поистине сверхразумным

благодушием, чтобы не заметить за благородной внешностью волчьих клыков и лисьего хвоста. Советы не заметили этого. Они увидели в обращении правительства „важный шаг навстречу осуществлению демократических принципов в области внешней политики". Они не поняли, что язык дан дипломатам для того, чтобы скрывать свои мысли. Они не учли того, что все правительства выпускают десятки тысяч *фраз*, которым мог бы позавидовать Маккиавелли. *Вместо организованного недоверия буржуазии, они призвали массы к организованному доверию этой буржуазии; вместо разоблачения фальши, они санкционировали эту фальшь.*

Всякое классовое представительство, в общем и целом, выполняет волю класса, его создавшего. Тактика империалистов, сидящих в своих банкирских конторах, дирекциях своих фабрик, посещающих свои „съезды" и „совещания", легальные и нелегальные, — эта тактика совпадает с тактикой тех же людей, когда они сидят в министерских креслах, *по существу*. Но она почти никогда не совпадает *по форме*, которая может быть далека от сущности, как небо от земли. Ибо политический жаргон дипломатов гораздо более гнусен, чем жаргон уличных воров, которые, залезая в карман, никогда не апеллируют к простым законам права и нравственности, к категорическому императиву Канта, к заповедям христианской добродетели или к священным идеалам цивилизации.

Вне сферы официальных отношений буржуазия вела атаку против Советов довольно открыто. Целый ряд кампаний против них был организованно проведен путем систематической травли в *буржуазной прессе*. Буржуазная пресса выказала себя сильнейшим орудием духовного порабощения масс. Имея в своем распоряжении миллионные средства, монополизируя чуть ли не весь запас бумаги, захватив фактически почти все типографии, буржуазная чернь плясала свой дикий танец, обрабатывая „общественное мнение" на потребу отечественного

и союзнического капитала и путем подносимого ежедневно в лошадиных дозах лганья, создавая тип запуганного революцией обывателя. Точно так же поступает свиновод, когда он путем „рационального“ ухода создает тип свиньи, лишенной основного свойства живого существа—движения—и пригодной только на убой.

Братство народов превращалось под пером этих грязных писак в пособничество Германии; *демократизация армии и проповедь мира* — в причины поражения на Стоходе, поражения, которым армия в действительности была обязана исключительно беспардонному поведению высшего командного состава; *восьмичасовой рабочий день* выставлялся чуть ли не государственной изменой, и солдаты приглашались к нападению на рабочих, якобы оставляющих армию без снарядов; наконец, *самое существование Советов* изображалось, как тормоз деловой работы Временного Правительства. В этой атаке против Советов и против рабочих сомкнутым строем шел центральный орган империалистов „Речь“ и протопоповско-банкирская „Русская Воля“, добросовестно-профессорские „Русские Ведомости“ и газета матерых охранников „Новое Время“, московское „Matin“—желтое „Русское Слово“ и презренная „Биржевка“. В особенности бесил этих печальников о благе народном восьмичасовой рабочий день. Не только газеты, чуть ли не все „живые рабочие силы“ буржуазии — молодые и старые девицы, студенты, даже гимназисты—были мобилизованы, чтобы поучать рабочих и рассказывать им о необходимости работать „на нужды обороны“ больше 24 часов в сутки, а главное, чтобы натравить солдат на рабочих и, таким образом, обессилить и внутренне разложить движение.

Советы видели все это и *словесно* боролись с такой травлей. На большее у них редко хватало решимости. Как можно, в самом деле, прикоснуться к „свободе“ „Речи“, раз ее шеф сидит в облеченном доверием демократии правительстве? Это было бы преступлением

по отношению к „революционному министру"! Но если газета „Речь" связана с министром, то, значит, министр связан с газетой „Речь". Вот этого-то и не видели Советы. Вместо того, чтобы иметь перед собой *классовую* сущность правительственной власти, они рассматривали империалистское насквозь Временное Правительство, как арифметическую сумму отдельных лиц с кастрированными классовыми устремлениями. Их умственная слепота, их поистине трогательная наивность доходила до того, что они искренне считали самых ярких идеологов империализма за апостолов демократического мира.

Холодной водой окатил их Павел Николаевич *Милюков*. *20 апреля* этот министр иностранных дел опубликовал свое „разъяснение" к ноте 27 марта. Г. Милюков имел наглость пометить его днем 18 апреля, когда небывалые выступления несметных масс рабочих и солдат выдвинули по всей России лозунги международного праздника пролетариев. „Разъяснение" предназначалось уже не для „граждан свободной России", а для союзных правительств. Тут нужен был иной язык и иные формулы. И господин Милюков заговорил уже не только о „решительной победе над врагом", но и о „санкциях и гарантиях прочного мира", что на дипломатическом жаргоне означают как раз те самые аннексии и контрибуции, против которых, якобы, должна протестовать правительственная нота от 27 марта. Впоследствии, на съезде своей партии, г-н Милюков с истинным благородством профессионального дипломата заявил, что он лгал гражданам России ex officio, по долгу службы.

На ноту Милюкова рабочая и солдатская масса ответила грандиозным выступлением. *20 и 21 апреля* в Петербурге, Москве и ряде других городов вспыхнули *могучие демонстрации протеста против Временного Правительства* и в особенности против Милюкова. Жалкая провокация кадетов, стремившихся вызвать сумятицу, потерпела крах. „Известиям Петроградского Совета" сообщали: „На грузовом автомобиле, с которого

разбрасывались к.-д. прокламации, *находились вооруженные люди и пулеметы*; на другом грузовике с такими же прокламациями и плакатами стояли *солдаты с дорогими цветами* в руках... Рабочие манифестации, хотя бы и не вооруженные, подвергались нападениям со стороны националистов *). Но как ни старались сторонники Милюкова дезорганизовать демонстрацию, направленную против Милюкова, сделать это им не удалось. Провокаторские выстрелы повлекли за собой несколько жертв, но это не расстроило сплоченности масс, стихийно вышедших на улицу.

Под давлением вооруженной демонстрации рабочих и солдат, Временное Правительство издало „разъяснение" „к разъяснению" министра Милюкова, где „решительная победа" оказалась „достижением задач", опубликованных в ноте 27 марта, а империалистские „санкции" и „гарантии" превратились в невинно-поповский вздох о разоружении и международном трибунале. Совет удовлетворился этим разъяснением и, отдав должное рабочим и солдатским массам, призвал их к спокойствию. „Временное Правительство — писали „Известия" в номере от 22 апреля—своим разъяснением уничтожило все пагубные двусмысленности ноты 18 апреля и тем сняло с очереди дня... лозунг: „Долой Временное Правительство"...**)

Тем не менее, *на деле* господа министры вовсе и не думали отступать. В день демонстрации, 20 апреля, в Киеве Гучков заявил об отсрочке Учредительного Собрания до конца войны. Уже *после* опубликования разъяснения Временного Правительства, а именно 22 апреля, г. Милюков заявил корреспонденту „Манчестер Гардиан", что Россия должна „получить господство над Босфором и Дарданеллами" и что она будет требовать раздела Австрии. На следующий день, 23 апреля, другой вояка российской марки, г. Гучков, произнес пылкую

*) „Известия" № 59. Курсив „Известий".

**) Ibid., № 47.

речь в Яссах, где высказался против окончания войны „в ничью“ и за „полный разгром Австрии и Германии“ *). Словом, волки, выступавшие в овечьих шкурах перед „свободными русскими гражданами“, тотчас же обнажали свои хищные зубы, как только они начинали вести деловой разговор с союзниками. В сущности они *плевали* на издаваемые ими же „документы“, которым по своей сентиментальной наивности придавали такую цену Советы. Советы думали, что буржуазия капитулировала перед ними. На самом деле они капитулировали перед буржуазией. *Эта капитуляция выразилась в историческом обращении: „К армии“.*

Воля к миру среди широких слоев армии проявлялась в необычайном распространении *братанья на фронте.* Среди крови и грязи, в которой захлебывалось озверевшее человечество, братанье было ярким и светлым пятном. Фактически оно прекратило на одном фронте военные действия. Появились уже признаки перебрасыванья „братанья“ и на другие фронты. Война, эта гнусная гадина, грозила быть задушенной усилиями самих масс, уставших насильничать из-под палки. Казалось, мир будет установлен самими массами через головы правительства.

Понятно, какое бешенство возбуждало возникновение человеческих отношений между „врагами“ у людоедов от буржуазии. Они забили тревогу. Морем лганья стали они запугивать обывателя. А к их хору присоединился внушительный бас союзников, которые настаивали на наступлении под угрозой лишить правительство своей финансовой поддержки. *Нужно было во что бы то ни стало сорвать братанье и международную революцию, которая хотела сорвать войну и империализм.*

Таковы были планы буржуазии, той самой буржуазии, которая явно вожделела к чужому добру. И Советы *помогли* этим планам. В воззвании „К армии“ не только

---

*) „Известия“ № 45.

резко осуждалось братанье, как возможная ловушка немецкого генерального штаба, но и указывалась необходимость *наступления*. Это было все, что требовалось пока для буржуазии. Одновременное обращение „К социалистам всего мира" производило уже жалкое впечатление. Ибо нельзя призвать их к восстанию против капитала, поддерживая у себя „дома" отъявленных империалистов.

Обращение „К армии" было решительным сдвигом вправо. Равнение направо пошло затем ускоренным темпом. *Мелкая буржуазия и мещанский социализм сдали свою важнейшую позицию,* сдали бесславно, без боя. Это обстоятельство не могло не иметь крупнейших последствий.

1 мая — 3 июля.

Не только отечественная финансово-капиталистическая буржуазия, но и буржуазия „союзников" в страхе смотрела на развивающиеся на фронте сцены братанья. *Мобилизация всех сил буржуазной коалиции против братанья и возобновление военных операций во что бы то ни стало,*—такова была очередная задача капитала. Относительно слабую российскую буржуазию усиленно подгонял англо-американско-французский хлыст. В своей прессе в бесчисленных миссиях, комиссиях и экспедициях западно-европейский и американский капитал с цинизмом, свойственным ему, когда он сознает свою силу и когда нет риска, заявлял, что он запрет свои денежные сундуки, если Россия не будет наступать. Ведь должна же кровь русского солдата оплачивать свой иностранный денежный эквивалент! А если „русская демократия" (тут уж стал заметен тон сдержанного бешенства „к великому и славному народу"), если „русская демократия" и *тогда* не захочет наступать, то мы, свободные демократические страны, будем воевать одни!

За кулисами официозной и официальной прессы поговаривали даже, что английские друзья готовят своим российским союзникам карательную экспедицию с Дальнего Востока на случай неповиновения. Такими

экспедициями хотели заставить русский народ покориться и беспрекословно исполнять „священные обязательства“, подписанные агентами свергнутого царя.

Западно-европейской и американской банкократии непосредственно служил и западно-европейский, и американский *социал-патриотизм.* Но в то время, как приезжавшие в Россию капиталистические воротилы указывали своими жирными пальцами прямо и ясно на деньгу, социал-патриотические комми-вояжеры лондонского Сити и парижской биржи, все эти Тома, Гендерсоны, Лабриолы и tutti quanti, обрабатывали революционную демократию, взывая к „солидарности народов“, которая странным образом располагалась по линии, намеченной империалистами соответствующих стран. Буржуазия шла за своими иностранными друзьями и покровителями. Крестьяне, солдаты и часть рабочих внимательно слушали империалистские проповеди, которые преподносились им под „демократическим“ соусом западно-европейскими коллегами.

После ухода из министерства Гучкова и Милюкова, двух министров особенно ненавистных демократии („не я ушел—меня ушли“, —резюмировал „событие“ г-н Милюков), начались зазывания в кабинет наиболее ручных „социалистов“. Буржуазия прекрасно понимала, что политика наступления есть игра va-banque. Она заранее готовилась и к провалу этого наступления. Нужно было поэтому разделить ответственность, а не брать ее целиком на себя. Правда, был еще один козырь—большевики. На них можно было взвалить возможный крах. Но необходимо было, чтобы исходный толчок шел тоже от „социалистов“. Армия жаждет мира. Армия не верит капиталистическим министрам. Она будет рассматривать приказы о наступлении, как *провокацию капитала.* Так пусть же сами Советы бросят ее в море крови! Пусть „социалисты“ делают дело Гучкова! Пусть они, призывающие к миру, сами сорвут дело мира! Пусть они дискредитируют себя в глазах своих западных „товарищей“!

Да здравствует коалиционное министерство!

В ночь *с 1 на 2 мая* Исполнительный Комитет Советов Рабочих и Солдатских Депутатов вынес принципиальное решение *за* вхождение во Временное Правительство. Исполнительный Комитет поставил при этом условия вхождения, выраженные в 8 пунктах: деятельная внешная политика в пользу всеобщего мира, демократизация армии и подготовка ее боеспособности на случай обороны и *наступления*, борьба с хозяйственной разрухой путем контроля над производством и распределением, защита труда, подготовка перехода земли к трудящимся, обложение имущих классов и финансовая реформа, демократическое самоуправление и скорейший созыв Учредительного Собрания в Петербурге. После нескольких дней переговоров в кабинет вошли, как делегаты Исполнительного Комитета, *М. И. Скобелев*, представитель меньшевиков, человек покладистый и уступчивый и к тому же совершенно не подготовленный к той роли, которую ему пришлось играть, благодаря прихоти истории; *В. М. Чернов*, теоретический глава социалистов-революционеров, недавний циммервальдец и архиреволюционер, враг всякого гражданского мира и идеологии „защиты отечества", быстро свернувший знамя революционного интернационала тотчас по переезде через государственную границу; *И. Г. Церетелли*, в несколько часов переменивший свой „принципиальный" взгляд на вхождение в буржуазное министерство; наконец, *А. В. Пешехонов*, народный социалист, либерал-народник, „старый добрый демократ".

Теперь-то можно начать игру!

Этой игре империалистов шли все больше навстречу сами Советы. Тотчас же после сформирования коалиционного министерства Совет счел нужным категорически высказаться *против опубликования тайных договоров*, на чем настаивала *революционная социал-демократия*. Все предпосылки, необходимые для капитала, были налицо: осуждение Советами братанья, вхождение

в министерство, призыв к наступлению на основе отказа от опубликования грязных договоров царя, признанных священными обязательствами. Чего же больше нужно было для империалистской клики? Падение мелкобуржуазного большинства Советов оттенялось еще более тем, что в ответ на пожелания русской демократии английское и французское правительства выпалили нотами, которые не говорили, а *кричали*: „Мы *за* аннексии! Мы *за* контрибуции!" Г-да Рибо и Ллойд-Джордж поспешили подтвердить это своими парламентскими речами и разгромом Греции. А Италия ограбила Албанию, торжественно „самоопределив" ее в Риме, как свою новую провинцию. Обрадованная буржуазия начала бешеный барабанный бой. Алармистская печать заработала во всю: сегодня она оглушала обывателя сообщением, что немцы уже стоят чуть ли не под Петербургом и концентрируют грандиозные силы для атаки на русском фронте, завтра она призывала спасать Францию и Англию, куда те же немцы перебросили все свои силы; сегодня она уверяла, что фронт накануне гибели, завтра она кричала, что „два, три удара"—и враг будет разбит. А в это самое время новый военный министр А. Керенский начал свои агитационные поездки и пламенно-победные речи, с одинаковым усердием посещая фронт и тыл, театральные помещения и окопы, концерты-митинги и Советы революционной демократии, казармы и привилегированные военно-учебные заведения. Объединенная буржуазия смотрела на него восхищенными глазами, внутренне подсмеиваясь над простодушным советским большинством. Портреты Керенского становились патриотической иконой. За его автографы, распродаваемые с аукциона, буржуа давали тысячи. Дамы из „порядочного" общества осыпали его розами и расточали ему свои улыбки. И уже в желтой прессе намечался лозунг: „Да здравствует полномочный Керенский!"

Однако, все же между империалистской буржуазией и пролетарско-крестьянской демократией соглашение

не могло быть внутренне прочным. Кризис власти, который выражался раньше в двоецентрии этой власти и в непрерывной то более глухой, то более острой борьбе между Временным Правительством и Советом Рабочих и Солдатских Депутатов Петербурга,—этот кризис, отражавший борьбу двух важнейших классовых группировок, не был изжит до конца. Он перешел лишь в иную *форму*, форму *скрытого* кризиса, запрятанного в недрах коалиционного правительства. Этим, конечно, не сказано, что борьба между Исполнительным Комитетом и Временным Правительством, вернее, его капиталистическим большинством, окончательно исчезла. Но она отчасти перешла уже в покои министерских помещений, и мрачные стены каменных зданий прикрыли ее от взоров широких масс.

Позиция нового Временного Правительства с его формулой „мира без аннексий и контрибуций“ была встречена союзниками „полным признанием“ *слов* при ясно выраженной аннексионистской *воле*. Систематически, неуклонно правительства союзников делали холодно-вежливый поклон в сторону формулы и потом „разъясняли“ ее так, как это выгодно империалистам. Они надеялись при этом на молчаливую симпатию крупно-капиталистического большинства российского правительства. И они не ошибались. По компетентному объяснению г-на Милюкова на кадетском съезде, он прилагал все силы, чтобы союзники знали о захватнических намерениях „России“, и только по должности министра подписывал антианнексионистские декларации. Более того, г-н Милюков ведь выразил уверенность, что его преемник, г. Терещенко, будет так же мудр, как и он, профессор Милюков. И, конечно, доблестные друзья России не могли вдоволь нахвалиться „глубоким государственным смыслом“ ответственных деятелей русского правительства.

Такая политика не могла не вызвать тревоги у органов демократии. Уже в № от 14 мая „Известия“ поместили

довольно резкую статью против союзников. А через день те же „Известия“ стали бить отбой и по пункту о *наступлении*. В № 68 в статье: „Наступление или готовность к наступлению?“—этот орган писал:

„Босые и нагие люди, лишенные хлеба, сидящие на голодном пайке, болеющие цынгой, не только не могут наступать, но и жить не могут. Значит, прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы армия была снабжена всем необходимым“.

„*Не может наступать* армия, в которой нет полного доверия между солдатом и офицером...“

„*Не может наступать* армия, третий год выдерживающая удары врага, в которой все измучены духовно и физически...“

„*Не может наступать* революционная армия, если каждый солдат в ее рядах не имеет твердой уверенности в том, что подвиг и жертва его служат действительно делу свободы, а не обогащению хищников международного капитала...“

Из всего этого делался вывод о *подготовке* армии к наступлению, а не о немедленном наступлении.

Но это были *слова*. Дело было уже сделано. Соглашение состоялось. А через участие в кабинете состоялось *и соглашение с теми самыми империалистами Европы*, против которых направлялись словесные стрелы „Известий“. Ниточка, связавшая органы революционной демократии со „своими“ отечественными империалистами, тянулась еще дальше и туго наматывалась в темных подвалах Английского банка, этого гигантского спрута, распустившего свои цепкие длинные лапы по всему миру, задушившего многомиллионные народы и схватившегося, в смертной схватке с хищниками Центральной Европы.

Для новой России ясно наметился путь старого европейско-американского развития, путь от демократии к империалистской диктатуре. По этому пути „свободные“ страны Западной Европы шли с самого

начала войны, они уже пришли к почти полному уничтожению демократии. Поскольку верховным критерием для части рабочих и для мелкой буржуазии стали интересы империалистской войны, сознавали то или не сознавали эти классы, постольку создавалась идейная гегемония империалистической буржуазии и ее фактическая диктатура. В *России* война началась при других условиях. Демократическая масса была противопоставлена с самого начала пулеметам своего *собственного* правительства. И если классы *крупных собственников* пошли на „священный союз“ с царизмом, то никакие призывы Плехановых не могли заставить *рабочие массы* сидеть в почтительном смирении перед царистским варварством. На гражданский мир с *царем* массы пойти *не могли*. Не потому, чтобы они были интернациональны, а потому, что они были слишком ненавистны царизму, а царизм был слишком ненавистен им. Царизм не мог выставить своим лозунгом „защиту демократии“, как это делали империалисты Запада и Америки, которые, говоря о защите этой демократии, все время яростно душили ее ботфортами милитаризма. Но если царизм не смог привязать к себе масс даже манифестами Плеханова, то это могли сделать *империалисты*, волею судеб очутившиеся на верху государственной власти. *Этот процесс и нашел свое выражение в соглашательской тактике мелкой буржуазии с ее ускоренным, хотя и неравномерным, темпом уступок российскому и союзническому империализму.*

Однако, особенность русских условий заключается в наличности антагонизма между *крестьянином и помещиком*. И если „общенациональные“ задачи *войны* втягивают массы в орбиту империализма, то *тяга к земле* со стороны крестьянина постоянно рвет налаживающееся соглашение и отводит в сторону от народной шеи удавную петлю, которую хочет затянуть на ней воинствующий империализм. Крестьянин хочет *защищать* землю— и потому он идет на обманный лозунг „защиты“,

выдвигаемый империалистами, в действительности стремящимися к нападению, и именно ради этого он идет на соглашение с помещиком. Но он хочет *получить* землю— и для этого он должен рвать с этим помещиком. Из этого порочного круга постоянно стремится выйти тактика мелкой буржуазии и не может выйти. Она лишь „предвечно исходит“ из него, как святой дух из бога-отца по учению христианской церкви.

В то время, как трубачи империализма трубили военное наступление, которое могло быть лишь предпринятой из политических целей *военной авантюрой*, каждый день войны способствовал нарастающему, как лавина, *экономическому развалу*.

Производство в конец обескровлено. Почти все силы высасывает война. Область производительного труда сокращается до минимума, воспроизводства ряда нужнейших предметов—в особенности средств производства— нет совершенно. Нет сырья, нет топлива, нет необходимейших предметов потребления. Деградация производительных сил по всему фронту. Процветают лишь шрапнельные мастерские да заводы, выделывающие для „внешнего врага“ ядовитые газы.

Транспорт расстроен до последней степени. Прихрамывая на обе стороны, обветшалые вагоны едва успевают перевозить военные грузы. По всем дорогам заторы. Число больных паровозов местами доходит до 50%. Угрожает реальная опасность, что в один прекрасный день железные дороги станут и откажутся служить. Нехватка продуктов из-за непроизводства обостряется развалом транспорта. Вместе с тем усиливается и без того невыносимая дороговизна.

Состояние *финансов* выражается в Гауризанкаре бумажных денег и чудовищном долге. При отсутствии прироста реальных ценностей печатные станки, заготовляющие бумажки, работают так энергично, что ломаются от перенапряжения. И только *тогда* временно прекращается течение шелестящего бумажного потока, который

приводит к полнейшему обесценению рубля. В той же пропорции, в какой рубль превращается в негодный клочок бумаги, все товары превращаются в недосягаемую для этого рубля драгоценность. Бичи дороговизны превращаются в скорпионы, которые все быстрее пляшут по спинам народных масс.

При таком положении дел только решительные революционные мероприятия могли бы помочь беде. Такие мероприятия предлагали *большевики*. Как в вопросе о войне и о соглашении с капиталистами, точно также и в вопросе о борьбе с хозяйственной разрухой только эта партия, *партия революционного пролетарского социализма*, взяла правильный курс. Национализация банков и трестов, контроль рабочих над производством, передача власти Советам, национализация земли, всеобщая трудовая повинность, преимущественное обложение и отказ от платежа государственных долгов,—таковы были главные лозунги пролетарской партии. Центральный орган большевиков „Правда" нес эти лозунги в массу, где они распространялись с чрезвычайной быстротой. Даже те рабочие, которые шли за оппортунистами в вопросе о войне и Временном Правительстве, в значительной степени шли за большевиками, когда заходила речь о борьбе с хозяйственной разрухой.

„Социалистические" министры коалиции сгоряча наобещали сделать чудеса. Скобелев даже заявил о „беспощадном обложении" имущих классов и о конфискации у них чуть ли не всех 100% прибыли. Но „социалисты" предполагают, а империалисты располагают. Почти все „мероприятия", возвещенные министрами-„социалистами", либо остались на бумаге, либо были весьма своеобразно обработаны, благодаря внутреннему противодействию буржуазных министров, благодаря тактике *саботажа*, которую стали применять представители капитала.

Буржуазия всегда выступает под знаменем *порядка*, если ее беспокоит поведение пролетариата. Еще в 1905 г. буржуазия устами Струве кричала об „анархии", когда

рабочий класс объявлял декабрьскую стачку, и негодовала по поводу „разрушения производительных сил“. Но никогда лицемерие буржуазии не доходило до такого градуса, как теперь. Буржуазия кричала: „Караул! анархия! грабят!“ и в то же время сама сознательно и планомерно работала над *дезорганизацией своего собственного производства*. Ее „порядок“ заключался теперь даже не в „порядке“ военно-полевого суда (это было для нее программой-максимум), а в планомерном и *организованном создании беспорядка*.

Такой парадокс русской общественно-экономической жизни объясняется относительной неустойчивостью власти буржуазии. Для успешного ведения войны нужна организация промышленности, и повсеместно в процессе войны совершается переход к *государственному капитализму*, где финансовый капитал стягивает всю свою концентрированную мощь в механизме *государственной власти*. Но русская буржуазия боится огосударствления производства. Она боится этого потому, что при дальнейшем развитии революции сама государственная организация может превратиться в свою собственную противоположность. Если государственная власть переходит в руки рабочего класса и беднейших крестьян, то к ним переходит и огосударствленное производство. Государственный капитализм грозит превратиться в полусоциалистическую диктатуру, прибыль капитала—в общественный фонд накопления, контроль капитала над рабочими—в контроль рабочих над „капиталом“, средства обуздания рабочих—в средства обуздания капиталистов. При таких условиях изменяется не только политическая форма власти, но происходит и коренное изменение производительных отношений. Но как раз такое изменение есть безумие и ужас для господствующих классов. Именно здесь, с точки зрения буржуа, лежит грань между „реальной действительностью“, которая немыслима для него без господства капиталистической палки, и пришествием коммунистических вандалов, которые для него еще более

страшны, чем апокалиптический зверь для верующего христианина. Отсюда—стремление во что бы то ни стало избежать такой возможности. Coûte que coûte! Начинается „итальянская забастовка“ капиталистов и саботаж производства: предприятие закрывается, хотя его можно вести; сырье вывозится, хотя оно нужно для предприятия; средства производства портятся, хотя они необходимы для производства, и т. д.; ведутся так называемые „скрытые локауты“,—словом, *автоматически развивающийся кризис усиливается и обостряется сознательной классовой политикой буржуазии.* В самом деле, разве она виновата в разорении? В этом виноваты рабочие с их „непомерными требованиями!“ Разве капиталисты виноваты в том, что крестьяне сидят без гвоздей и подков? Это „товарищи“ на заводах получают по 500 рублей и ничего не делают. Адресуйтесь к рабочим, граждане-крестьяне: это в них лежит погибель России.

Так хочет буржуазия натравить крестьян на рабочих, деревню на город. Путем хаоса и анархии хочет она придти к абсолютному утверждению своей власти. „Держи вора!“—кричит вор, стремясь улизнуть от преследующей его толпы. „Долой анархию, долой большевиков, да здравствует порядок!“ — кричат локаутчики, саботируя производство.

Тактика империалистов тверда и определенна. Они проводят ее с неуклонной последовательностью. Немудрено поэтому, что *ориентация по отношению к производственной жизни была перенесена и на государственную власть.* Саботаж, итальянская забастовка—такова была „работа“ буржуазных министров коалиционного кабинета. Но все же есть существенная разница между положением дел в министерстве и положением дел в производстве. В экономической борьбе, которая, благодаря своему гигантскому размаху, приняла характер политической борьбы класса в его целом, рабочие вовсе не шли на компромисс. Наоборот, тактика мелкобуржуазных социалистов в министерстве была классическим образцом

перманентного компромисса и в то же время перманентных трений. Условия момента диктовали меры революционно-диктаторского вторжения в имущественные отношения: *Земля—крестьянам!* Но все попытки, даже весьма скромные, со стороны Чернова к урегулированию земельных отношений встретили решительную оппозицию в буржуазном большинстве кабинета. *Организация промышленности!* Но все разговоры о контроле и проч. на деле привели лишь к созданию „Экономического Комитета“ и Экономического Совета“, учреждений с преобладанием махровых цензовиков. *Финансовая реформа, „беспощадное обложение имущих!“* Но эти обещания, под давлением капитала и благодаря мещанскому добродушию Скобелева, оказались—увы!—лишь продолжением неистовой работы печатного станка. *Охрана труда!* Но даже декрет о 8-часовом рабочем дне застрял в тайниках министерского творчества. *Скорейший созыв Учредительного Собрания!* Но подготовка к этому скорейшему созыву выразилась лишь в учреждении „Особого Совещания по выборам“ под председательством кадета Кокошкина и с громадным преобладанием буржуа.

Так вся широковещательная программа на деле оказалась абсолютным нулем. Мещанская тактика уступочек и уступок, вечная боязнь напугать буржуазию, суеверный страх перед „буржуазным“ характером революции, полное неверие в революционное творчество народа,—вся эта гнилая и презренная тактика соглашения привела к господству нестерпимой *фразы*, пошлой и бессмысленной, к министерскому пустозвонству, из которого „социалистические“ министры сделали себе профессию, в то время, как их буржуазные коллеги неустанно и последовательно плели сеть контр-революционной работы во вне и закладывали фугасы в самом министерстве, взрывая всякое благое начинание. *Тактика сотрудничества с буржуазией терпела явное банкротство.*

3 июня открылся парламент революционной демократии—*Всероссийский С'езд Советов Рабочих и Солдатских*

Депутатов. С первого же дня, на первом заседании, выяснилось подавляющее мелкобуржуазное большинство Съезда. Правда, действительное соотношение сил было несколько искажено неправильным представительством. Тем не менее, громадное преобладание мещанского „социализма“ над революционным социализмом пролетариата выявилось, как факт, не подлежащий никакому сомнению.

Съезд не внес ровно ничего в то, что уже имелось. Никакой самостоятельности, никакой свежей струи в ту жалкую политику растерянных уступок и уступчивой растерянности, которая велась „вождями“ в министерстве, он не влил. Он, по существу, лишь *санкционировал* эту политику. Вместо того, чтобы решительно двинуть революцию вперед, он узаконил бег на месте и бесконечное словоизвержение. Он побоялся даже настоять на издании декрета о роспуске Государственной Думы и Государственного Совета, этих черносотенно-кадетских учреждений, ставших высшими центрами организующейся контрреволюции. И в то время, как г.г. Родзянко, Милюков и К⁰, поддерживаемые сэром Бьюкененом и реакционными генералами и адмиралами, развивали энергичную работу, Съезд вынес прекраснодушную резолюцию, об‘явив их политическими мертвецами. Напрасно большевики предлагали вбить осиновый кол „в могилу этой подозрительной покойницы— ее, кажется, даже не лишили жалованья (см. министерскую газету „Дело Народа“ от 30 июля). Более того. Находясь в разгоряченной атмосфере все обостряющейся классовой борьбы, когда, с одной стороны, среди пролетарских масс назревало глубочайшее разочарование и недовольство трусливой политикой Временного Правительства № 2, а с другой—все наглела откровенная контр-революция, *С‘езд ясно потянулся в сторону буржуазии.*

В противовес большевикам, которые в самом начале Съезда предлагали организовать немедленно революционный орган власти в лице Советов, чтобы, сплотив все

революционные элементы, повести тактику решительного равнения *налево*, большинство Съезда высказалось за *равнение направо.*

На *10 июня* Центральный Комитет большевиков готовил демонстрацию рабочих и солдат, демонстрацию против политики Временного Правительства: *массы* требовали такой демонстрации, рабочие и солдаты хотели заставить услышать свой голос. Но мелкая буржуазия уже стала страшиться революционного авангарда: он мог скомпрометировать ее в глазах друзей справа, он мог погубить ее министериабельность, он мог, наконец, совершить тягчайшее „преступление перед революцией": запугать буржуазию, буржуазию, готовившую контр-революционные полки, без ведома самого Керенского уже намечавшую „высокое" лицо в диктаторы.

Съезд запретил демонстрацию пролетариев и солдат, и своим запрещением открыл атаку на партию революционного пролетариата. Только благодаря тому, что Центральный Комитет большевиков решил подчиниться и обратился к массам с соответствующим воззванием, демонстрация не состоялась. Ее отменила сама пролетарская партия. Несмотря на это, вожди мещанского soi disant „социализма" не могли не обрушиться на большевиков. Ведь вся буржуазная печать разражалась истерическими воплями и требовала аркана! В историческом заседании фракций Совета Церетелли, тот самый Церетелли, который был обвинен столыпинскими палачами в заговоре, выступил с обвинениями в заговоре против большевиков. Подавить решительными мерами!— выкинул свое знамя Церетелли, на что Мартов ответил ему изречением Кавура: „Путем осадного положения страной править может и дурак".

Но меньшевики и эсэры, рассылавшие своих агитаторов по фабрикам, заводам и казармам, видели, какое настроение царит среди масс. Они видели, что демонстрация объективно необходима. *Обрушившись на большевиков за устройство демонстрации, они назначили*

демонстрацию сами. 18 июня, под давлением большевиков, был назначен смотр силам революции. Нужно было только сделать демонстрацию „не страшной“ для буржуазии. „Процессия на могилу жертв революции“—таков был мелкобуржуазный псевдоним для пролетарской демонстрации протеста против Временного Правительства.

День 18 июня стал историческим днем. Он стал символом противоречия, символом громадной исторической антитезы и в то же время символом откола мелкой буржуазии от революционного пролетариата. *18 июня почти полумиллионная рабочая и солдатская масса вышла с лозунгом: „Против политики наступления!“ 18 июня „революционный“ министр Керенский повел в это наступление войска.*

Красные знамена реяли над Петербургом. В подавляющем большинстве демонстрация шла под большевистскими лозунгами: „Долой контр-революцию!“ „Долой IV Думу и Государственный Совет!“ „Долой 10 министров-капиталистов!“ „Долой „союзных“ империалистов!“ „Долой капиталистов-локаутчиков!“ „Вся власть Советам!“ „Да здравствует контроль над производством!“ „Против расформирования полков!“ „Против разоружения полков!“ „Ни сепаратного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с английскими и французскими капиталистами!“ „Немедленное опубликование договоров!“ *„Против политики наступления!“*

И в тот же самый день Керенский телеграфировал князю Львову: „Настойчиво прошу срочно разрешить мне вручить от имени свободного народа полкам, участвовавшим в бою 18 июня, *красные знамена революции*“.

Демонстрация 18 июня показала, что авангард революции, пролетариат и лучшая часть армии, идет с большевиками. Она, с другой стороны, показала, что единственной пролетарской партией, партией революционно-интернационального социализма, являются большевики. Демонстрация 18 июня была резко выраженной *классовой* демонстрацией. Буржуазия попряталась. Любопытные

буржуа не глазели на демонстрантов. Они исчезли с улиц Петербурга, предоставленных пролетариям и солдатам. „Сердце и мозг революции“, город переворота, оказался на стороне Интернационала.

Наступление 18 июня обозначило поворотный пункт в развитии революции. Оно значило фактическую победу контр-революционных империалистов. Оно означало, что мелкая буржуазия вошла в империалистски-военный блок со „своими“ и с „союзными“ капиталистами. Оно означало, что на организованные силы русской революции, кроме ее левого, пролетарского фланга, наброшен аркан, который тащит их к империалистской виселице. Оно означало, наконец, ликвидацию политики международного соглашения демократий, которая звучала бы жалким лепетом в сравнении с языком пулеметов тех полков, которые шли под „красными знаменами революции“ и которым с таким упорством навязывали секретные договоры кровавого царя.

Еще недавно „Известия“ писали, что армия не может наступать, пока не будет предпринят ряд радикальных мер. Эти меры не были предприняты. Тем не менее, Всероссийский Съезд Советов выпустил „Воззвание к армии“, в котором он утверждал, что наступление начато в целях „приближения всеобщего мира“. Тут со всей силой сказалась бездна трусости, с одной стороны, и поразительного легкомыслия — с другой, которую обнаружила мелкая буржуазия. Ее вожди знали, не могли не знать положения дел в армии. Они не могли не знать, что ни физически, ни морально армия не сможет выдержать. Они понимали, что наступления требуют иностранные банкиры, которые хотят получить кровавую плату за свои миллионы. И они все-таки пошли на это, ибо на этом настаивали их „друзья“ справа и „сам“ Александр Федорович Керенский.

Борьба за мир, а тем более „решительная борьба за мир“, превратилась в тощую фразу, лишенную уже окончательно почти всякого содержания. Фактически эти

слова в устах вождей мелкой буржуазии превратились в образчик проституирования интернационалистской фразеологии, проституирования, которое стало непременной составной частью политики этих господ. Моральный авторитет их среди революционных рабочих кругов за границей быстро падал. Поставив себя на одну доску с Шейдеманами и Реноделями, представители мелкобуржуазного советского большинства превратились в таких же дипломатов-чиновников, как и те. *Их* „борьба“ за мир могла быть лишь „борьбой“ на конференции международных дипломатов, хотя бы на эту конференцию они и нацепили „социалистический“ ярлык.

Наступление чрезвычайно обессилило позицию демократии в борьбе за мир. Но оно необыкновенно укрепило *позицию реакционеров.* В атмосфере военного „подтягивания“, под флагом „дисциплины“ и „порядка“ гораздо легче надевать наручни на непокорных и заковывать всякую критику в кандалы. А, с другой стороны, патентованным реакционерам и патриотическим шулерам, о которых знал еще Беранже, открыты все возможности их организации. Черносотенцы снова повыползли из своих нор. „Святая Русь“ и другие подобные организации со столь же патриотически звучащими наименованиями снова заработали. Как грибы после живительного дождя (это был *кровавый* дождь!), росли „военные лиги“, „союзы георгиевских кавалеров“, „ударники“, „батальоны смерти“, общества „личного примера“ и так далее и тому подобное. Многие из них выпускали грозные воззвания против „внутреннего врага“, „трусов, изменников и предателей“, под которыми разумелись, главным образом, противники войны. Среди таких организаций, по своему значению, выделялся всероссийский *казачий с‘езд.* Еще ранее, в конце мая, была опубликована казачьей фракцией при Совете выборных особой армии „программа казачьей партии“, где казаки выделялись в почти самостоятельные маленькие государствица. Между прочим, § 12 этой программы предусматривал, что воинские казачьи части,

с разрешения „Войскового Круга“, могут быть употребляемы для подавления внутренних народных волнений в России*). Казачий съезд недаром был облюбован Милюковым и Гучковым: им уже слышался свист нагайки, гуляющей по рабочим спинам, и они постарались организационно связаться с активными деятелями этой нагайки. *Временный Комитет Государственной Думы* и партия „народной свободы“, связанная с военными кругами, стали организованными центрами контр-революции. Дума готовилась воскреснуть, и Родзянко выпустил уже письмо к членам Думы с призывом быть наготове. Для уличных отбросов в это время старались суворинская „Маленькая Газета“, печатавшая каждый день одно и то же требование об аресте Ленина, этого выдающегося вождя международной революции. Особенно бешеная атака велась, конечно, против партии пролетариата, которая была так ненавистна всем буржуа. „Изменники“, „германские агеты“, „разбойники“, „преступная банда“ — таков был жаргон „высококультурных“ слоев общества, когда они говорили о большевиках.

С другой стороны, все более наростало недовольство положением вещей в рабочих кругах, С каждым днем атмосфера становилась напряженнее и напряженнее. Барабанный бой шовинистов, снова выкинувших „победные“ лозунги затягивания войны, возмущал пролетариев и солдат до глубины души. Чувствовалось, что воздух насыщен грозой.

Масла подлил в огонь неожиданный для большинства *уход кадетов из министерства.* Уход кадетов из министерства был логическим завершением их тактики саботажа. Момент был выбран для этого чрезвычайно удачно. До министерских ушей уже успели дойти сведения о начавшихся неудачах и о предстоящем поражении на фронте. И они поступили так, как диктовал им холодный циничный расчет. Тактика наступления была переложена

*) „Известия“ № 74.

ими на социалистов. Но они ни в малейшей степени не хотели нести ответственности за эту тактику. Им нужно было иметь руки развязанными в тот час, когда станут поступать сведения о неизбежном и неотвратимом. Им нужно было стоять в стороне, когда во всем объеме станут ясны результаты военной авантюры Керенского. Пусть тогда сидят в качестве „ответственных“ социалистические дурачки! Разве можно было придумать лучшее средство для их дискредитирования?

Воспользовавшись своим несогласием с решением Керенского, Церетелли и Терещенко по украинскому вопросу (эти министры выработали соглашение с Центральной Украинской Радой), кадеты вышли in corpore из министерства. Остался лишь Некрасов, который вышел из кадетской партии. Князь Львов заявил, что украинский вопрос— только повод, „причину же нужно искать... в расхождении точек зрения: социалистической и буржуазной“.

Выход кадетов обнаружил всю ценность кадетской фразы о „жертвах в пользу родины“ и проч. В самый ответственный момент они довели свой саботаж власти до высшей степени. „Они отбросили себя в лагерь врагов революции“—писали „Известия“, не понимая того, что здесь был глубоко продуманный и заранее подготовленный план действий.

Кризис власти сразу развязал революционную энергию стихии. Когда получились уже известия о тревожном настроении петербургских масс, заседала городская конференция большевиков. Она высказалась против выступления. Центральный Комитет партии, учитывая серьезность положения, тоже высказался против, и соответствующие распоряжения были переданы в районы. Но на происходившем вечером 3 июля собрании Петербургского Совета Рабочих Депутатов разнесся вокруг слух, что пулеметный и гренадерский полки *уже* выступили и идут к Таврическому Дворцу. Сообщили о немедленном выступлении других полков и заводов.

И вот тут первый раз большевики предложили вмешаться в ход событий, чтобы придать выступлению мирный организационный характер. Пролетарская партия не могла играть лицемерную и малопочетную роль Понтия Пилата, она не могла оставить массы в решительный, критический момент. Она вмешалась—и только благодаря этому вмешательству, не произошло колоссальной уличной резни...

На собрании рабочей секции большинство оказалось большевиками. Меньшевики и эсэры ушли. Большинство приняло резолюцию о необходимости перехода власти в руки Советов и выделило бюро из 25 человек, которому поручило „действовать от имени рабочей секции в контакте с Петроградским и Всероссийским Исполнительными Комитетами" *).

К $10^1/_2$ часам к Таврическому Дворцу подошел 1-й пулеметный полк. Его приветствовал от Центрального Исполнительного Комитета Войтинский. Затем события развиваются с поразительной быстротой. Город превращается в вооруженый лагерь. У Дворца 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 и 14 роты 1-го пулеметного полка, 4-я ружейная пулеметная рота, 1-й пехотный полк в полном составе и весь 6 запасный сапёрный батальон. Идет грандиозный митинг. Главный лозунг—вся власть Советам! В 2 часа ночи—приходит весь Путиловский завод. В это время происходит заседание Объединенных Исполнительных Комитетов. Рабочая и солдатская масса требует, чтобы ее представители взяли власть, чтобы они взяли дело народа в свои руки. Съезд объявляет демонстрацию контр-революционной. Положение становится еще более тревожным. Между полномочным органом революционной демократии и цветом революционных масс намечается глубочайшее расхождение в самый критический момент. Это расхождение создает хаотическое положение, и движение в ряде мест приобретает беспорядочный характер. Прибывают кронштадтцы и ориенбаумские пулеметчики.

*) „Известия № 108.

На улицах идет перестрелка. Контр-революционеры провоцируют панику. Движение все нарастает.

Но тут прибывают карательные войска с фронта.

При фактической поддержке Исполнительных Комитетов готовится расправа с демонстрантами. И в тот же момент оглушительной бомбой разрывается документ Алексинского, гласящий, что Ленин—немецкий шпион!

Ход контр-революции был задуман крайне удачно. С одной стороны—заготовить материальную силу штыка для подавления „бунта", а с другой—деморализовать движение, смешать с грязью его идеологов, разложить и растерзать сплоченность революционных сил, отравить всю атмосферу зловонием и клеветой, на которую способен только остервенелый буржуа.

Эту благородную задачу Цицерона, спасающего родину от Катилины-Ленина, взял на себя министр юстиции Переверзев. Жрец бесстрастной Фемиды, он пустил в ход непроверенный лживый документ, сфабрикованный немецко-русским шпионом для того, чтобы „возбудить ярость солдат". И этот блюститель закона имел затем наглость сознаваться в этом!

Но все средства дозволены, когда нужно сократить революцию,—лишь бы они достигли цели. Цель была достигнута, хотя Переверзев и был вышвырнут из кабинета. Дальше начинается облава на „изменников".

Буржуазии не удалось устроить июльских дней. Она не смогла организовать такое кровопускание, какое она хотела иметь. Но, не вырезав пролетариат, она все же временно ослабила его. Наглая контр-революция праздновала свой триумф.

После июльских дней.

Всякое дело имеет своих „героев". И всякая общественная группа выставляет своих ответственных лиц, своих лидеров. Их нравственный облик в значительной степени определяется характером той группы, которую они представляют.

Пролетариат является теперь классом борющимся и бесстрашным. Он — воплощение критики и анализа. И в то же время он воплощение *воли*, широкого размаха, борьбы революции. Это—не грязная воля к порабощению, а мятеж против рабства, нищеты, придавленности, предрассудков, суеверий. Пролетариат критикует все, что обычно считается не подлежащим критике. И, освобождая все человечество вместе с собой, он больно бьет по традиции, привычной, закоренелой и в то же время увековечивающей рабство. Воля и интеллект у него одинаково революционны.

Русский и международный пролетариат нашел себе достойного вождя в лице Ленина. Старый революционер, Ленин был крещен на путь революции кровью своего родного брата, повешенного палачом Александра III. И ненависть к угнетателям прочно осела в его душе. Большой аналитический ум, Ленин в то же время человек железной воли, идущий всегда тем путем, который он считает правильным. Он одинаково тверд тогда, когда приходится плыть почти одному „против течения“ и когда нужно работать среди „своих“. Революция—его стихия. Он—настоящий вождь революции, последовательный до конца, бичующий всякую половинчатость и недоговоренность, ненавидящий капитал священной ненавистью революционера и заслуживший ответную ненависть буржуазии. Он не давал спать этим господчикам, ибо они видели в нем своего самого опасного врага. Они брызгали своей ядовитой слюной, как только слышали его имя. Как старый Катон, повторяла буржуазия: „Carthaginem esse delendam!“ „Ленин *должен* быть уничтожен!“

И контр-революция имеет *своих* героев. Но у нее они делятся, как у воров, на две категории: работающих „чисто“ и „грязных“. Рыночная ценность последних тем выше, чем ярче их прошлое. Особенно ценятся при этом *ренегаты*. Ренегат, прежде всего, существо злобное, мстительное, неопрятное. Изменник по природе, он

обвиняет в измене других; потерявший честь, он стремится лишить чести тех, кто на него непохож; терзаемый угрызениями остатков совести, он заглушает их все новыми предательствами. В конце концов его злоба начинает граничить с глупостью. Но он не чувствует этого. Ибо для него нет границ в подлости. Ибо он страдает постоянной неудовлетворенностью и, падая со ступеньки на ступеньку, не находит дна той пропасти, в которую он летит. В конце концов он отвратителен и жалок, так как внутренне его презирают даже его хозяева. Профессиональный негодяй, он, тем не менее, так же необходим капиталу, как и директор банка. Поэтому ему подают руку, но тайком брезгливо вытирают ее платком.

Такого негодяя русская контр-революция нашла в лице Алексинского. Этот „бывший член Государственной Думы“, социал-демократ и теперешний служащий контр-разведки (псевдоним возрожденного охранного отделения), с физиономией дегенерата и глазами подворотнего шпика, своей фигуркой „грязного“ работника редакции как нельзя лучше оттеняет ее идейного вождя г. Милюкова с его солидною внешностью европейского дипломата, белоснежным воротничком на шее и „благородством на челе“. Алексинский, имя которого упоминается наряду с именами парижских охранников в „досье“ о высылке из Франции Троцкого, человек, который „работал“ по части ложных доносов совместно с корреспондентом охранного „Нового Времени“, Яковлевым, и разоблаченным теперь провокатором Брутом, носящим на лбу позорное клеймо клеветника, наложенное несколькими организациями буржуазных журналистов, выгнанный даже из редакции патриотического „Современного Мира“ и еще более патриотического „Призыва“, дважды не допущенный к Совету Рабочих Депутатов за свою бесчестность, — этот человек получил из рук контр-разведки благословение на кампанию против Ленина. Он нашел себе достойного сотрудника в прапорщике Ермоленко, который, по его же собственному признанию,

перешел на службу германского штаба, подписал, якобы в целях разоблачения немцев, договор и получил даже денежную мзду в полторы тысячи рублей.

И вот эти-то господа при поддержке блюстителя закона Переверзева, для того, „чтобы возбудить ярость“ против партии пролетариата, вышли на свет божий со своей глупой клеветой, подхваченной и разнесенной сотнями тысяч, миллионами капиталистических газет, листков, журналов. Буржуазия знала, что делала. Разве не обвиняли ее предки в измене великого Марата? Разве не подвергался той же клевете Бланки? Разве не отравляли клерикалы „общественного мнения“ Франции делом Дрейфуса, а русские черносотенцы разве не проституировали закон и суд средневековым процессом Бейлиса? „Государственная измена“ — был приговор немецкой буржуазии над величайшим героем современной войны — Либкнехтом. „Государственная измена!“ — кричала полицейская челядь и обыватели шведскому интернационалисту Хечлунду. „Государственная измена!“ — вопили английские, французские и прочие империалисты своим врагам из пролетарского лагеря, бросая их в тюрьмы, надевая намордники на их печать и громя их организации.

Но, конечно, никакая клевета не смогла бы сделать своего дела и никакая контр-революционная шайка не могла бы захватить власть, если бы этому не помогли *партии мелкой буржуазии,* эсэры и меньшевики. „Июльские дни“ поставили перед этими партиями вопрос в самой категорической форме: с контр-революцией против пролетариата или с пролетариатом против контр-революции. Их ответным лозунгом было „спасение революции“. Их фактическим поведением было *предательство* этой революции. Одобрив вызов кавалерии и казаков для усмирения питерских рабочих и солдат, разоружив революционные полки и рабочую гвардию, и поддержав в критический момент грязную кампанию против вождей пролетариата, они не только нанесли удар пролетарскому флангу революции, но обессилили

и себя. С этих пор начинается разложение Советов. Они ведут позорный и постыдный торг с наступающей реакцией, падают все ниже и ниже, превращаясь в пустые говорильни, в машину для изготовления бессильных, трусливых и бесславных речей и резолюций.

После июльских дней хозяевами города сделались *юнкера и контр-разведчики.* Невский стал кишеть молодыми дворянчиками и буржуа в изящной военной форме, с наглыми глазами и английским хлыстом в руках, бок-о-бок с дамами полусвета, требовавшими „расправы"— петли, аркана, пули—для обитателей рабочих кварталов и их партии. Аресты, избиения, убийства (напр., убийство рабочего Воинова, продававшего „Листок Правды"), дикий разгром „Правды", когда „защитники порядка" резали, уничтожали и громили решительно все, что попадало под руку, как настоящие варвары,—все это было хорошей интродукцией.

Решительным шагом было *разоружение рабочих и солдат.* Вооруженная масса—самое опасное для господствующих классов, ибо это—надежнейшая гарантия для революции. Поэтому всегда и всюду после кровавой бани усмирители народа, прежде всего, разоружают силы революции. Разоружение рабочих и солдат есть удар в самое сердце революции. Такой удар был направлен рукою генералов при поддержке перетрусивших soi disant „социалистов", вхожих в министерство крупного капитала. Он не был смертельным, этот удар. Но он означал, тем не менее, *победу откровенной контр-революции.* Wer „A" sagt, muss auch „B" sagen. Сказавши „А", нужно говорить и „Б". Если юнкерам дали закрыть „Правду", то тем самым выдали еще ряд газет. Если способствовали распространению клеветы против вождей революции, то через несколько дней согласились *выдать* их тюремщикам контр-революции. Если выдали большевиков, то впоследствии согласились на выдачу Троцкого. Если сперва одобрили преследование „отдельных лиц",

то тем самым *фактически* одобрили и преследование всей партии революционного пролетариата.

Такова была политика Центрального Исполнительного Комитета. За кулисами шла откровенная торговля головами вождей революции, завоеванными свободами, честью революционного народа. Советы, *разоружив революционные войска и пролетариат, разоружили и себя*. Главный источник их сил в значительной степени исчез. Наоборот, казацкие войска, юнкера и проч., наводнившие Питер, дали реальную силу, *вооружили контр-революцию*. При таких условиях трусливое мещанство делалось еще трусливее. Его испуг переходил в панику. Его предательство становилось *системой*.

Неизбежное поражение на фронте было взвалено на большевиков. Травля пролетарской партии превратилась в исступленную бешеную кампанию, которая переходила уже и на *Советы*. Вслед за кадетами ушел и глава всех временных правительств, князь Львов, заявив, что Советы стоят „ниже морального уровня русского народа". И в то же время этот джентльмен совершенно правильно оценил положение вещей с точки зрения своего класса: „Прорыв фронта не так важен, как глубокий прорыв *фронта Ленина*". Прорвав „фронт Ленина", то есть фронт революции, российские империалисты могли уже не стесняться третировать en canaille и „органы революционной демократии".

Уход Львова знаменовал собой окончательную дезорганизацию „коалиционной" власти. Буржуазия знала, что теперь Советы возьмут власть менее, чем когда бы то ни было, ибо они бессильны. Нужно было еще основательнее дезорганизовать государственный аппарат, чтобы въехать потом на белом коне в качестве „спасителей отечества".

Мелко-буржуазные вожди поступили так, как и следовало ожидать. Они склонились перед *единоличною волею* Керенского, передав ему все полномочия. „Демократы", они отказались от демократизма; „социалисты",

они капитулировали перед тем, кому не доверяла его собственная партия; сторонники „свободы“, они круто повернули к бонапартистскому единодержавию. Эта поистине отвратительная картина была еще отвратительнее благодаря тому, что все действующие лица играли лишь роль пешек на шахматной доске истории, пешек, которыми двигала рука *империалистской буржуазии*.

Последняя продолжала наступать по всей линии, идя на всех парах к военной диктатуре. Генерал Нилов ультимативно потребовал восстановления смертной казни. Комиссар Временного Правительства Савинков-Ропшин, тот самый, который в дни черной реакции свое регентство оправдывал богобоязненными рассуждениями на тему: можно или нельзя убить охранника, в телеграмме, написанной языком героев Достоевского, стал умолять о массовых расстрелах. Керенский, с театральными жестами и театральными слезами на глазах говоривший раньше об абсолютной отмене смертной казни, о том, что он не хочет быть „Маратом русской революции“, захотел теперь, очевидно, быть ее Столыпиным. Ибо Марат рубил головы высокопоставленным контр-революционерам, а Керенский, ухаживая за бывшим царем, распорядился о массовых казнях для серых солдат. Началась дикая вакханалия расстрелов, каких не было даже при кровавом режиме царя, поход на солдатские организации, армейские комитеты, революционную литературу. Торжественно возвещенная свобода нагло топталась генеральским сапогом. Права солдата-гражданина были снова украдены. Ликующая буржуазия праздновала свой триумф. Отовсюду стали выползать притихшие на время Пуришкевичи. Объявленная Советами трупом Государственная Дума воскресла и устами Масленникова объявила, в свою очередь, Советы сборищем преступников и проходимцев. Зашевелились организации цензовиков и, параллельно тому, как в тюрьму попадали Луначарский, Троцкий, Коллонтай, из тюрьмы выпускали Горемыкина, Маркова 2-го, наемного убийцу и „друга“

Хвостова-Ржевского, крупнейших провокаторов Абросимова, Черномазова и прочих. Под флагом борьбы с анархией, под флагом „спасение революции“ стали душить революцию и выпускать на свободу ее душителей.

Органы революционной демократии, ставшие наполовину придатком к репрессивным органам буржуазии, смутно чувствуя тревогу, в то же время шаг за шагом отступали перед возрастающими требованиями контр-революции. Ведь недаром в Центр. Исполн. Комитете был выставлен в свое время „гуманным“ Керенским без обиняков лозунг: „Уничтожить большевиков“. Это происходило в то самое время, когда по Питеру ходили слухи о прямых контр-революционных заговорах, идущих из штаба. Но дальше удаления пары лиц Керенский не пошел. Зато он вступил в переговоры с представителями контр-революции (к.-д.) *о составлении кабинета.*

Теперь для кадетов „психологический момент“ настал. Если „господствующая партия“, эсэры, получившая повсюду такое значительное большинство, превратила свой лозунг: „Земля и Воля“ в лозунг „Земля и Пуля“ и свела „трудовой надел“ к количеству земли, необходимому для погребения расстрелянного „своими“ же крестьянина-солдата, то чего же можно было еще бояться? Большевики, наиболее опасные противники, разбиты. Остальные партии—приручены.

После некоторых ломаний и разыгранных Керенским обмороков соглашение состоялось на основе *почти полной капитуляции Советов.* Кадеты вошли в правительство, предварительно дав большой срок для упрашиванья. Мелкобуржуазные „социалисты“ буквально гонялись за „живыми силами“ страны, под которыми разумелись порозовевшие покойнички из Думы. Их просили, молили, заклинали: сперва именем революции, потом именем родины. Наконец, кадеты „сдались“ на условиях, означавших их полную победу. Новое министерство составилось, как министерство, *независимое от Советов.*

Этот факт окончательно передал в руки буржуазии государственную власть, которая оторвалась от Советов. Последние превратились в глазах буржуазии в „частные“, „самочинные организации“. И, вместо съездов революционной демократии, всплыл на поверхность Земский Собор в Москве, где тузы промышленности, фабриканты и заводчики, банкиры и помещики должны короновать правительство „спасения от революции“, правительство, уже успевшее возродить ссылку, 102 статью, внесудебные аресты, право „тащить и не пущать“, щегловитовский режим, столыпинский галстух и третье отделение.

Контр-революция взяла власть в свои руки. После пяти месяцев революции, когда эта власть принадлежала одновременно и Советам, и Правительству, и демократии, и империализму, — утвердилась, наконец, власть *империалистской буржуазии*, власть финансового капитала. Под руку с союзным империализмом и реакционными верхами армии она пляшет теперь канкан на трупах ею растерзанных „свободных граждан“.

Контр-революция могла победить лишь при поддержке мелкой буржуазии в лице ее вождей. Но контр-революция не могла и не может удовлетворить классовые нужды крестьян. Контр-революция пыталась разгромить организацию рабочих. Но она не может ни в малейшей степени разрешить противоречия хозяйственной жизни. Ответом на преследования, травлю, осадное положение послужил *рост* партии революционного пролетариата, снятие с постов деятелей мелкобуржуазного социализма, большая сплоченность и закал революционного социализма, порвавшего со всякими иллюзиями, смело идущего навстречу новым битвам. Уже слышатся ответные голоса пролетариев Европы: в Англии поднимается волна рабочего недовольства, во Франции волнуются даже солдаты, в Германии—снова стачка на военных заводах, Испания—в пламени революционного пожара...

Революция умерла! Да здравствует революция!

ОТ ДИКТАТУРЫ ИМПЕРИАЛИЗМА К ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА.

„Рано торжествует контр-революция свою победу. Пулей не накормить голодных. Казацкой плетью не утереть слез матерей и жен. Арканом и петлей не высушить моря страданий. Штыком не успокоить народов. Генеральским окриком не остановить развала промышленности“.

Так говорил манифест июльского съезда большевиков, опубликованный 12 августа в день созыва Московского Совещания.

Прошло всего три месяца со времени победы империалистской клики, когда генеральские лампасы и несгораемые шкафы банкиров стали символом русской власти наряду с казацкой пикой и скорострельной юстицией, как диалектический прыжок истории поставил на голову прежнее соотношение между „народом“ и „властью“. В огне жестокой гражданской войны империалистский фронт был прорван могучим натиском рабочей и солдатской массы. „Кучка немецких шпионов“, как называли злобствующие буржуа вождей пролетариата, была взмыта революционной волной на самую вершину нового аппарата Советской власти. Диктатура империализма превратилась в диктатуру пролетариата и солдат-крестьян, взявших в железные руки своих классовых врагов.

Русская революция перешла, таким образом, в новый фазис, фазис *социалистической* революции. В движение пришли многомилионные массы трудового народа, который своим победоносным восстанием вызвал в то же

время невероятное ожесточение всех слоев, связанных с финансовым капиталом.

Падение империалистского режима было подготовлено всей предыдущей историей революции. Но это падение и победа пролетариата, поддержанного деревенской беднотой, победа, раскрывшая сразу необъятные горизонты во всем мире, не есть еще начало органической эпохи. Сопротивление буржуазии перенесено лишь в иные центры и в иную сферу, и пролетарско-крестьянская власть поставлена перед необходимостью сломить это сопротивление *во что бы то ни стало.*

Международный капитал, на всех перекрестках предающий анафеме „великий бунт" рабочих и солдат, поддерживает всеми средствами вооруженную борьбу контр-революции и „тихую сапу" буржуазной интеллигенции и ее отечественных покровителей. И перед российским пролетариатом становится так резко, как никогда, проблема *международной революции.*

Но человечество ставит себе лишь те задачи, которые оно может разрешить. Вся совокупность отношений, сложившихся в Европе, ведет к этому неизбежному концу. Так перманентная революция в России переходит в европейскую революцию пролетариата, вооруженного тем самым империалистским государством, над головой которого он уже заносит сверкающий нож гильотины.

„Независимое" министерство — Московское Совещание.

Победа контр-революции в июльские дни привела к министерству из министров, „независимых ни от кого, кроме своей совести", т. е. попросту целиком зависимых от капитала. Лейб-орган Милюкова, „Речь", декларировал это urbi et orbi: „Требования кадетов—писала газета—несомненно легли в основу деятельности всего правительства... Именно поэтому, раз основные требования кадетов были приняты, партия не сочла возможным продолжать спор из-за специфически-партийных разногласий".

Но форма, в которую вылилась фактическая победа контр-революции, была не формой чисто-кадетского правительства, а установлением *бонапартистского режима Керенского.*

Июльские события, которые явились переломным моментом революционной борьбы, были в сущности, *полу*-восстанием против буржуазии. Масса рабочих и солдат, подталкиваемая политикой правительства, вышла на улицу, но она не была способна на решительное действие. Пролетарская партия, которая к тому времени уже завоевала симпатии петербургских рабочих и солдат, понимая всю сложность положения и безнадежность восстания, высказывалась против выступления. Последнее приняло, таким образом, половинчатый характер полумирной демонстрации.

Если июльское выступление было полувосстанием, то в известной степени и победа контр-революции была полупобедой. Империалистские бесноватые не могли устроить бойни, как они этого ни жаждали. Наступление контр-революции началось по всему фронту. Но силы позолоченного патриотизма фабрикантов и заводчиков, несмотря на прикрытие казацких нагаек, пулеметов, контр-разведки и царской прокуратуры, оказались все же недостаточными для окончательного обескровления пролетариата и гарнизона. Контр-революция была *еще* недостаточно сильна для разгона Советов, в то время, как сами Советы были *уже* бессильны, чтобы дать решительный и властный отпор: предавшие пролетариат, с печатью Каина на лбу, они страдали теперь сами под бременем последствий этого предательства. Они превратились в ширму, в декоративную форму, за которой скрывалось реакционное содержание. Но и подлинная демократия—рабочая демократия в первую голову—не в состоянии была резким ударом отбросить назад наглеющий империализм, ибо она была, если не разбита на голову, то все же обессилена и временно дезорганизована.

Так создалось относительное равновесие социальных сил, создавшее основу *для российского бонапартизма.*

Бонапартизм характеризуется тем, что отдельные личности получают значение, далеко не пропорциональное их действительной роли. Они не имеют под собой самостоятельной социальной базы. Но тем не менее, им принадлежит государственная власть. Фигура бонапартиста может быть крупной сама по себе,—таков был Наполеон I, таков был Цезарь. Но она может быть по существу жалкой и презренной, как фигура Наполеона III, „проходимца на королевском троне", или фигура Керенского. И в том и в другом случае, однако, социальный смысл бонапартизма остается одним и тем же: он выражает скрытую форму победы контр-революции, последнюю ступень перед голой, неприкрытой властью реакционной клики. *Суб'ективно* бонапартист воображает, что он стоит между классами, используя для *себя* классовую борьбу, „лавируя" между классами. *Об'ективно* он лишь орудие владеющих классов, которые используют его. При таких условиях так называемая борьба на два фронта есть прикрытая борьба против фронта революции.

Обычно, герой бонапартистской игры является ренегатом. Он должен пройти сперва известный демократический стаж, прежде чем быть принятым в политические салоны владык мира. Ему нужен ореол „народного героя", „спасителя отечества". Ему нужна популярность среди масс, маханье шапками и „народная любовь". Он может быть авантюристом с подозрительным прошлым, или честным революционером в прошлом, переходящим к подозрительному настоящему; он может быть штатским, который становится военным, стремящимся создать себе преторианскую гвардию, или военным, прибирающим к своим рукам штатские дела; он может быть человеком дела, который своими „подвигами" демонстрирует свое геройство, или героем фразы, шарлатаном языка, который тем быстрее приводится

в движение, чем больше умственное убожество его владельца. Но он должен обязательно „*спасать*“. Роль избавителя-мессии — профессиональный ярлык всякого Бонапарта.

Неудивительно, что, когда финансовому капиталу потребовалось подставное лицо, этим лицом оказался Керенский. Он совмещал в себе все элементы, нужные для того, чтобы денежная аристократия благосклонно наложила на этого „демократа“ штемпель одобрения и признательности. В прошлом—революционер, но не из твердых; герой весенней революции, с ее сентиментальными порывами и братаньем крестьян-солдат с помещиком Родзянкой; театрал и фразер до мозга костей, который умеет и плакать, и смеяться, и трагически рвать на себе волосы, и целовать землю—когда того требуют обстоятельства; любимец широкой публики и подающий надежды авантюрист; специалист по проституированию революции, красным знаменем умело прикрывает империалистский грабеж; трус, который мужественно ругает трусами своих политических противников; член социалистической партии, на каждом шагу обходящий ее постановления; ставленник „полномочных органов“, в глубине души плюющий на эти органы; человек, спасший от смертной казни Николая, но введший, из „демократических“ соображений, смертную казнь для солдат; сторонник революции, бьющий эту революцию по лицу; борец с германским империализмом, продающий под „революционным соусом“ кровь русских солдат империализму английскому и за кулисами тайной дипломатии ползающий на коленях перед союзным капиталом; наконец, присяжный спаситель родины, с благоговейным хрипом произносящий ее имя, маг и чародей, аттрибутами царского великолепия тонко намекающий на стезю спасения,—разве это был не подходящий человечек для объединенных заводчиков и горнопромышленных тузов, мородеров и спекулянтов, получателей казенных заказов и высоких дивидендов, крупных рантье и помещиков, домовладельцев

и кокоток, биржевых шулеров и архиепископов православной церкви?

Бонапартистская власть Керенского должна была служить переходным мостиком к спасению капиталистической прибыли и земельной ренты от посягательств рабочих и крестьян. Между народом и блоком крупных собственников эта власть выступила в роли третейского судьи, „общенациональной власти“, стоявшей, якобы, над классами, но в тайниках министерских канцелярий обделывавшей делишки с открытыми врагами народа. Верхи банкократии думали уже перейти к утверждению своего несокрушимого господства, перейдя через мостик режима Керенского. Однако, они не учли одного обстоятельства, существенно отличавшего скороспелый плод российского бонапартизма от его западно-европейских образцов. *На западе бонапартизм выростал уже после того, как проблемы, поставленные революцией, были разрешены; доморощенный же бонапартизм Керенского возник в период, когда почти все задачи революции еще ждали своего решения;* крестьяне уже начали терять терпение, не получая земли; рабочие и вся беднота жестоко страдали от разрухи; все низы города и деревни вместе с солдатской массой жаждали мира. Словом, и субъективные стремления широких народных масс и объективное положение вещей не могло быть разрешено теми методами, которые имелись в распоряжении Керенского и выглядывавшего из-за его спины Милюкова-Дарданелльского. Крах такой политики был неминуем, и он наступил раньше, чем того можно было ожидать.

„Независимое“ правительство торжественно прокламировало гражданский мир и, как это подобает проститутам революции, заявило, что „вся непобедимая мощь русской революции будет обращена на спасение России и восстановление ее поруганной молодушием и презренной трусостью чести“.

Под „спасением России“ эти господа понимали услужение капиталу. Под „презренной трусостью“—

революционный дух солдат, вопреки смертной казни шедших против своих палачей. Под „мощью революции"— яростные наскоки контр-революционной шайки. Как же не выставлять буржуазным воротилам заслона в виде такой хорошей „революционной власти"!

Борьба с революцией под флагом борьбы с контрреволюцией—такова была сущность политики „независимого правительства. Буржуазная пресса с ее высококвалифицированными наемниками на все лады проповедывала наряду с теорией шпионажа теорию „левой контрреволюцчи", благосклонно поощряя, а иногда и покрикивая на расторопных услужающих в министерских покоях. „Контр-революция—писала газета московских миллионеров, „Русское Слово"—пришла в наши дни не с той стороны, откуда ее ждали согласно теории и обычая, не справа, но слева, не от „буржуев", а пришла с крайнего левого фланга русской революции" *). А потому да здравствует борьба с „контр-революцией"!

Такую директиву „независимому" правительству давали заправилы банка, биржи и синдикатов. На торгово-промышленном съезде в Москве известный богач и меценат Рябушинский открыто выступил с циничной программой разбойного удушения революции, разгона Советов, осады рабочего класса голодом.

„Наше Временное Правительство—заявил Рябушинский—находилось под влиянием посторонних людей. У нас фактически воцарилась кучка шарлатанов... Власть не поощряет торгово-промышленных классов... Необходимо, чтобы государство встало хоть несколько (!) на точку зрения торгово-промышленного класса! Правительство должно буржуазно мыслить и буржуазно действовать. *Быть может, для выхода из положения потребуется костлявая рука голода, народная нищета, которая схватила бы за горло лжедрузей народа, демократические Советы и Комитеты*". Бешеные аплодисменты толстосумов покрыли эту поистине каннибальскую речь.

*) „Р. С.". 6/VIII—1917.

А в ней уже черпало свое вдохновение правительство бонапартиста.

Если в период „зависимых правительств“ финансово-капиталистическая буржуазия прибегала к организованному саботажу, то теперь, когда государственный аппарат фактически попал в ее собственные руки, она решила одновременными ударами и в сфере экономики обеспечить себе закрепление своей победы.

Еще в июле состоялся съезд тринадцати важнейших предпринимательских организаций во главе с Советом Съездов акционерных банков. Короли нефти и сахара, угольные бароны и лесоторговцы, железнодорожные тузы и монополисты кожи, металлургические цари и писчебумажные фабриканты—все они пришли к единогласному заключению, что необходимо всероссийское объединение капитала. Так возник „Главный Комитет Объединенной Промышленности“, alias „Комитет Защиты Промышленности“.

Защита промышленности при ближайшем рассмотрении сводилась к *нападению на рабочих*. Крупный капитал после июльского разгрома пролетарской партии уже предвкушал восстановление самодержавия на фабриках и заводах, где организации революционных рабочих взяли под уздцы своих собственных господ. Программа финансового капитала была коротко и ясно формулирована его официальным органом „Промышленность и Торговля“: восстановление *порядка* на фабриках и заводах“, „железная дисциплина в тылу и на фронте“*). А на основе этого „базиса“ господа промышленники надеялись создать и соответствующую надстройку, ограничив заработную плату рабочих, обеспечив себе максимальные дивиденды, введя *для рабочих* принудительно-каторжный труд и дав рабочим понять, что „возродилась твердая власть“.

Ученые и неученые сикофанты господствующих классов, которые чувствуют себя на содержании у капитала

*) „Промышленность и Торговля“, № 26—27.

так же хорошо, как правоверный иудей в лоне Авраама, дополняли и „обосновывали“ эту программу. Печальник об интересах землевладельцев, профессор Мигулин, тот самый, который в своей книжонке „К трехсотлетию дома Романовых“ поочередно лизал сапоги всех представителей этого, с позволения сказать, „дома“, украшал страницы „Нового Экономиста“ требованием военной дисциплины на железных дорогах и защитой „основного права человека и гражданина“—права собственности. А газетная пресса уже разрабатывала планы расправы и обуздания in concreto...

Временное Правительство довольно удачно „соответствовало“ этой программе. Правда, оно не выходило из состояния перманентной удрученности и временный его характер нисколько не противоречил постоянному характеру этой удрученности. Почти каждое заседание правительства кончалось трагически: приехала делегация с фронта—ее доклад произвел „удручающее впечатление“; сообщают о лесных порубках—правительство „удручено“; большевики пользуются успехом—правительство „удручено“; бастуют рабочие—на правительство это действует „тягостно“. Все отчеты о его заседаниях непременно заканчиваются этими словами. Это могло бы быть трагедией, если бы на самом деле не было комедией. Ибо правительственная удрученность странным образом нисколько не мешала ему расправляться с народом так, как этого требовал капитал и крупное землевладение.

Против *крестьян* правительство Керенского обрушилось с арестами, карательными экспедициями, судами. Судили за нарушение старых кабальных договоров и за проведение в жизнь инструкций Чернова; сажали рядовых крестьян и членов земельных комитетов; хватали простых комитетчиков и председателей комитетов. И те, и другие, и третьи попадали на скамью подсудимых и расселялись по даровым квартирам нового „Величества“. Так расправлялась власть в Псковской, Могилевской, Подольской и др. губерниях, очевидно, памятуя

о социализации земли, которая значится в программе партии, возглавляемой Керенским. Тут с чрезвычайной яркостью проявился социальный смысл бонапартистской власти. По внешности—„мужицкое“ правление крестьянского социалиста. В действительности—хищный кулак ростовщического капитала. На словах—земля и воля. На деле вооруженная защита помещичьей собственности. „В принципе“—свободная самодеятельность крестьянских организаций. Реально—смирительная рубашка, уголовный суд и провинциальные держиморды.

Против *рабочих* велась политика, которая требовалась объединенными промышленниками. Взять пролетариат за горло они еще не могли. Но почти все продукты законодательного творчества в экономической области сводились ко всевозможным рогаткам, которые ставила империалистская государственная власть „нерадивым“ рабочим, осмеливавшимся посягнуть на священное „jus utendi et abutendi“.

Еще более откровенным был натиск на *политические* организации пролетариата и на его „права и вольности“. Печать поставлена почти вне закона. Собрания предоставлены на благоусмотрение двух министров: военного и внутренних дел. Пролетарская партия стиснута клещами исключительного положения, которое было тем хуже, чем произвольнее действовали усердные администраторы. И, как результат беспримерного пресмыкательства перед мародерами мировой войны и торжества раболепного византийства, законодатели Зимнего Дворца возвестили всему миру новый закон об оскорблении иностранных величеств и их представителей, карающий тюрьмой за разоблачение международного грабежа!

Крестьянская *армия* разделила судьбу всего народа. Она была выдана „демократом“ Керенским на поток и разграбление царским генералам, которые организовали в ставке главный штаб вооруженной контр-революции. „Железная дисциплина“, т. е. зверская расправа с солдатами; скорострельная военно-полевая юстиция, которую

изменники революции имели наглость и бесстыдство называть революционной; система гнуснейшей клеветы на солдат, организуемая той же ставкой, — все это спуталось в грязно-кровавый ком, которым думали задавить революционный дух армии.

Империалистская диктатура, которая в лице авантюриста от „революции" наступила своим окровавленным сапогом на всю страну, дала себя почувствовать и на *окраинах*. Разве можно было, в самом деле, позабыть о великом праве на самоопределение наций? И для демонстрации этого права „демократические" прохвосты распустили *Финляндский сейм*, пригрозив ему вооруженной силой, а на *Украине* выставили аргументацию в виде кирасир ради вящего торжества „свободы и революции".

В то время, когда российский империализм оскалил зубы против своих колоний, под покровом дипломатической тайны, Керенский и Терещенко разыгрывали отвратительную комедию распродажи своего социалистического прошлого, уславливаясь с Ллойд-Джорджем относительно ликвидации *международной конференции* социал-патриотов в *Стокгольме*. Растерзав за кулисами государственных секретов несчастную затею „социалистов", *Ллойд-Джордж* от имени четырех держав Согласия заявил, что паспорта на конференцию не будут выданы, так как „в тот момент, когда в России предприняты первые шаги для восстановления дисциплины и для предупреждения братанья на фронте, ничего не может быть пагубнее, чем конференция с участием неприятельских подданных".

А временный русский подголосок британского империализма торжественно возвестил, что „решение вопросов о войне и мире принадлежит исключительно ему в единении с правительствами союзных стран".

Если центральная государственная власть воплощала уже империалистскую диктатуру, то тем самым давался широкий простор для мобилизации *контр-революционных*

сил. Поскольку старый, царистский аппарат (охранка, переименованная в контр-разведку, судьи, чиновники, вся так называемая „администрация“, генералитет и офицерство) еще существовал, поскольку он не был разгромлен весенней революцией вдребезги, он снова начал расцветать, впитывая в себя живительную влагу реакции. Ему на помощь спешили добровольцы из буржуазии, пресса, размножившиеся контр-революционные ячейки, всевозможные совещания и съезды, монархические организации, требовавшие „республики“, и „республиканские“ кружки, кричавшие о монархии, комплоты генералов и отцов церкви, георгиевских кавалеров и тузов промышленности, седовласых помещиков-землевладельцев и ударниц, юнкеров и банкиров, геморроидальных сановников и лихого казачества.

Все эти лица, группы, организации и общества, окрашенные в черно-зеленый цвет буржуазной реакции, выражали собой блок собственников, совокупную „партию порядка“, которая шла сомкнутым строем против партии пролетарского восстания. Организующим деловым центром этой клики стало так называемое „*Совещание московских общественных деятелей*“, руководимое миллионерами во главе с Родзянко и Рябушинским, учеными консультантами которых выступила, между прочим, вся „стая славных“: автор первого социал-демократического манифеста, профессор Струве; специалист по идеалистической философии, проф. Новгородцев, привлекший категорический императив Канта на службу палачам Керенского и несгораемым шкафам Рябушинского; проф. Булгаков, из марксиста превратившийся в „ученого батюшку“, лишь по ошибке не носящего рясы; г-н Бердяев, удачно соединивший служение Афродите Небесной со служением металлу самого земного происхождения,—словом, „Bildung und Besitz“ („образованные и владеющие“), „союз науки с промышленностью“ выступил, как оплот готовящегося решительного набега. А в качестве „военной силы“ к ним присоединились генералы царя и верхи казачества.

Идейно-политическим штабом контр-революции оказались центральные учреждения *„партии народной свободы“*, этой классической партии российского финансового капитала и российского империализма.

Банк господствует теперь над синдикатами, биржей, торговлей и промышленностью. И подобно тому, как мелкое производство зависит теперь от крупного и вместе с ним зависит от банков, подобно тому, как домовладельцы и мелкие буржуа, помещики и фабриканты, короли трестов и биржевые волки все идут под гегемонией финансового капитала,—их *политические* группировки стали лишь подсобным аппаратом главенствующей партии всех остервенелых собственников, партии „народной свободы“. Зеленое знамя надежды на сохранение капиталистического порядка против красного знамени социализма!

Решительный удар, который реакция хотела нанести революции, должен был пройти под флагом „общенационального“. Нужно было закрепить „завоевания“ капитала под соусом „порядок и отечество“. Нужно было создать видимость общенациональной санкции для грядущего окончательного переворота, для реставрации и возврата к монархии, которой, как рыба воды, жаждали мартовские „республиканцы“. Нужно было, наконец, создать себе прочную организационную базу. Так возникла идея Московского Государственного Совещания, нового Земского Собора, где „мертвецы“ Государственной Думы должны были схватить за горло российскую революцию.

Чем более укреплялась буржуазия, тем сильнее росли ее аппетиты. Теперь буржуазным верхам казалась уже недостаточной политика Керенского и его клики. Керенский осуществлял ее диктатуру. Но Керенский был человеком пришлым, приблудшим к буржуазии. Керенский служил капиталу не за страх, а за совесть. Но у Керенского были „грехи молодости“. Керенский готов был прикладываться к „задней“ капитала. Но Керенский был все же героем фразы, а не дела. *Свое* назначение он уже

исполнил: он помог капиталу привязать народные массы к империалистской колеснице июньским наступлением; он помог капиталу обуздать рабочих и солдат июльским разгромом пролетариата; он ввел смертную казнь на фронте. Но он уже почти целиком использовал свою популярность. Свершив все, что требовала от него *буржуазия*, он потерял всякий кредит у *массы*. Исполнив свое назначение для „капитанов промышленности", он уже сделал свое имя ненавистным для пролетариата и солдат. Он стал выжатым лимоном, фразером, фразы которого только смешны. Он продолжал говорить именем революции, но ему бросали уже в лицо имя изменника революции. Его заклинания не действовали. Его фигура перестала уже импонировать. За внешним блеском и трагическим шопотом массы уже разглядели заурядного проходимца.

Буржуазия требовала теперь военного диктатора, а Керенский был всего на всего штатским болтуном.

Так возникла почва для появления нового претендента на историческую роль „спасителя отечества". Этим претендентом денежная аристократия, торгово-промышленные круги и владельцы латифундий назначили Корнилова. Московское Совещание должно было провозгласить диктатором избавителя-генерала.

А „революционная демократия"? Она находилась в состоянии полной растерянности и прострации. Советские органы во главе с Ц. И. К. продолжали твердить о сборе „всех живых сил", но, обеспокоенные лозунгами Рябушинского, они начали уже боязливо озираться по сторонам. Они пытались созвать „совещание по обороне", но единственным последствием его были нападки на большевиков. Они пытались „критиковать" Рябушинских, но их критика была лишь жалким лепетом трусливого раба. Исключив из делегации большевиков за „антипатриотизм", они на деле присоединились к „общенациональным" лозунгам правительства, бежавшего от революции в *Москву*.

Но на страже стоял *пролетариат*. Он видел грозную опаснасть, которая придвигалась все ближе и ближе, и мобилизовал свои силы.

Московское Совещание—заговор Корнилова.

Стачкой протеста, возмущения и презрения встретил *московский пролетариат* съехавшихся со всех сторон представителей „народа" в генеральских лампасах, фраках и архиерейских митрах.

„Да здравствует всеобщая стачка, наше первое грозное предостережение господам контр-революционерам!"—писал московский орган партии пролетариата „Социал-демократ". 41 профессиональный союз подавляющим большинством голосов решил объявить эту стачку. Правда, трусливые „революционеры" из Московского Совета, эсэры и меньшевики, которые, будучи на словах представителями масс, ничего так не боялись, как выступления этих масс, поспешили тотчас же „отменить" стачку и вынесли резолюцию, объявляющую, что стачка „гибельна для революции". Но московский пролетариат снова подтвердил свое решение, и четыреста тысяч рабочих, как один человек, подхватили лозунг своих классовых организаций. И в то время, как на имя председателя черносотенной Думы, Родзянко, каждый день приходили поздравительные телеграммы от биржевых комитетов, союзов землевладельцев и торгово-промышленных организаций, со всех сторон слетались известия о стачках и демонстрациях революционного пролетариата.

Таким образом, „общественное сознание" буржуазно-генеральско-помещичьих верхов самым резким образом столкнулось с „общественным сознанием" пролетариата. „Да здравствует военная диктатура!"—кричали цензовики. „Долой контр-революцию!"—заявлял решительно пролетариат.

Буржуазно-монархическая клика поставила себе целью действовать двумя путями: путем „парламентского"

выступления на „Государственном Совещании“ и путем внепарламентского выступления юнкеров, казаков и офицерства во главе с реакционным генералитетом и под личной диктатурой Корнилова. Почва для такого выступления усиленно подготовлялась. В Москву вызывались казачьи полки. Георгиевские кавалеры спешно мобилизовали свои контр-революционные ячейки. Начальники военных училищ приводили в боевой порядок пулеметы и взывали к юнкерам, предлагая им „стать грудью“. А для городского обывателя, мелких лавочников, лабазников, многочисленных чиновников, салопниц, „интеллигенции“, всех этих адвокатов и журналистов, учителей и профессоров, попов и бывших околоточных, судейских крючков и инженеров, артисток и докторов медицины—готовился торжественный въезд Корнилова, который под триумфальными арками должен был проехать „приложиться“, по образцу царей, к Иверской, мимо шпалерами выстроенных войсковых частей, кричащих „восторженное ура“ избавителю буржуазного мира, и мимо публики, устилающей его путь цветами.

Обыватель, который раньше аплодировал Керенскому, а в марте плакал слезами умиления перед „первым революционером“, Родзянко, этот мелкий буржуа, привязанный к колеснице империализма, прямо *жаждал* „порядка“ и „твердой власти“. Его возмущало положительно все: его возмущали солдаты, которые даром висели на подножках трамвая, и он искренне радовался, когда они расшибали себе лбы; его возмущали горничные и дворники, которые получали уже не 10 рублей в месяц и которые осмеливались требовать для себя человеческого существования; его возмущали Советы, которые „грабили“ домовладельцев, реквизируя пустые помещения.

Как базарная торговка, он жадно ловил ухом всякую сплетню, направленную против революции, и тотчас размножал ее в своих листках, газетах, прокламациях, разговорах вслух и нашептываниях на ушко. В этом

трогательно сходились засаленная куртка торговца свининой и изящный костюм театральной балерины.

И вот этот-то обыватель и должен был играть роль „народа", коронующего совместно с „Государственным Совещанием" нового мессию, который должен спасти „порядочных людей" от „тирании невоюющих солдат и неработающих рабочих" *).

Московское Совещание, объявленное уже „Государственным", оказалось исторической комедией первейшего ранга. Вряд ли можно подыскать пример большего лицемерия, чем те сцены, которые, как по нотам, разыгрывались в оперном зале Большого театра. Все, что происходило там, было *сделкой*, имевшей вид борьбы, для того, чтобы не быть борьбой, не похожей ни на какую сделку.

„Совещание" было сделкой мелкобуржуазных вождей с цензовиками; но в то же время оно было сделкой двух диктаторов: одного, который уже был, и другого, пришествие которого лишь ожидалось.

„Выравнивание фронта производилось по лозунгам Партии Народной Свободы"—писал кадетский официоз „Речь" **), подводя итоги комедийному действу. Таким образом, оно, как казалось, более или менее выполнило свою задачу.

Совещание говорило от имени „нации". На самом деле, из него была исключена основа нации—пролетариат и беднейшие крестьяне. Зато были представлены все оттенки собственнического блока. Торговля велась без хозяина. Но от этого она не перестала быть торговлей.

Государственно-надменная хрипота Керенского, обещавшего *железо и кровь* для пролетариата, была введением в отвратительные сцены братанья между лощеными воротилами капитала и героями мелко-буржуазных

---

*) „Новое Время", 11—VIII—17.

**) „Речь", 16—VIII—17.

представительств, между Бонапартом, вышедшим из присяжных поверенных, и диктатором из казацких генералов.

Керенский знал, что Корнилов стягивает войска, чтобы произвести вооруженный переворот. Но он приветствовал его, как „первого солдата Революции“, под восторженный рев всех зубров и биржевых акул. А в то же время „на всякий случай“, делались контр-приготовления, и оба соперника предусмотрительно отправились ночевать в вагоны, готовые каждую минуту к спешному отъезду. *Церетелли* знал, что демократии нечего ждать от развивающейся на всех парах реакции. Но он трогательно жал руку дельцу финансовой клики, Бубликову, умоляя—как писали потом „Известия“ оборонческого Ц. И. К.—„сгладить на время классовые недоразумения“.

Триумвират—Алексеев, Корнилов, Каледин—развил полностью палаческую программу финансового капитала. Расправа с революцией, уничтожение „Советов и Комитетов“, сметение с лица земли или полное обезврежение армейских организаций—такова была программа генералов, одобренная заводом, поместьем, банком и биржей. Но не только ими непосредственно. Программная речь, которую читал Корнилов, была написана для генерала *подручным Керенского, Филоненко,* тем самым Филоненко, который вместе с Савинковым сочинил для Керенского проект смертной казни для солдат. Нечего и говорить, что Милюковы и Рябушинские намечали ту же линию, как и их военные друзья.

Так называемая „демократия“, т. е. советские вожди, гласные дум, служащие кооперативов, которые выступали под псевдонимом революции, явилась на Совещание с декларацией, урезывавшей и без того урезанную платформу оборонцев. Борьба за мир исчезла почти вовсе (ведь недаром писала газета охранников „Новое Время“, что „Россия оказалась совсем не интернациональным сбродом“!)—все свелось к „общенациональному“ лозунгу *обороны.* „Трезвость“ и „реалистность“ от начала до конца! Ни шагу без позволения хозяина, который уже

кричит: „цыц“! Даже орган умеренной революционности и революционной умеренности „Новая Жизнь“, оценивая декларацию Чхеидзе, удивленно вопрошала: „Могла ли пожелать чего большего самая пылкая фантазия Милюкова и Гучкова два месяца тому назад?“

Но аппетиты буржуазии росли с каждым часом; от нее нечего было ждать благодарности капитулянтам „демократии“. И когда Чернов, этот мелкий политический мошенник, прикрывающий свою трусость рассуждением об этике, стал аплодировать Каледину, протестовавшему против обвинений казаков в контр-революционности, бравый генерал плюнул ему в лицо своим ответом, заявив, что „пораженцам нет места в правительстве!“ Как много ни говорилось о „жертвах“, „взаимных уступках“ и „общенациональных задачах“, сколько слез ни проливал „благородный“ Церетелли, сколько анекдотов ни рассказывал „вождь в отставке“ Плеханов, сколько поручений ни расточал безгосударственный почитатель Государственного Совещания, князь Кропоткин, совместно со всеми бабушками и дедушками русской революции, капиталисты и их идеологи стояли на своем. И по существу дела они настояли: „демократия“ оказалась послушной. Ее можно было взять голыми руками.

Но мелкий лавочник трубит о своей победе даже тогда, когда его бьют по щеке: пожалуйте, ведь у него есть еще одна щека, которая могла бы быть бита! Поэтому каждое свое поражение „демократические“ вожди рассматривали, как победу. Некоторые из них признавали, что „демократия“ отступила. Но именно потому—утверждал „орган социалистической мысли“, „День“, который сделал свою мысль содержанкой банкового капитала,— „именно потому, что она (т. е. демократия) была сильна, она имела смелость отступить“. „Смелость отступить!“— такова была „смелость“ господ Церетелли и Чхеидзе.

Если результатом Московского Совещания была сделка с *равнением направо*, то это было на руку не только естественным реакционерам: в этом был кровно

заинтересован и *международный капитал.* Союзные послы, набившие царскую ложу, никого не приветствовали так горячо, как кровожадную генеральскую тройку. Немудрено, что „ближайшим результатом Московского Совещания явилась возможность заключить на заграничном рынке пятимиллиардный заем“ *). Это было тем более возможно“, что ген. Корнилов открыто угрожал сдачей Риги, требуя смертной казни в тылу. Эту угрозу он впоследствии „выполнил“.

„Государственное Совещание“ не превратилось в Долгий Парламент, как на то надеялись господа нововременцы. Но не произошло и внешнего переворота, которого так усиленно ждали буржуа всех мастей. Правда, имя „героя“ было уже у всех на устах. Военный авантюрист, „честная щпага“, недалекий, но прямо идущий к цели, этот коренастый генерал с калмыцкой физиономией, имевший твердую решимость залить кровью рабочих улицы городов и расстрелами покончить с революционными солдатами, был вполне подходящим человеком для Милюкова и Рябушинского. К нему на аудиенцию являлись с докладами, как являются с докладами к „высочайшим особам“: Путилов и Рябушинский, подозрительный дипломат Аладьин, вождь кадетской партии Милюков,—все они поочередно припадали к стопам палача.

Но как ни хотелось жаждавшим генеральской диктатуры, чтобы Московское Совещание санкционировало coup d'état, переворота не было. Господа генералы увидали, что *пролетариат,* который всеобщей стачкой встретил съехавшихся хищников, дал отпор. Нужно было выгадать время. Нужно было лучше мобилизовать военные силы контр-революции, чтобы решительным ударом обескровить мятежных рабочих.

Заговор был отложен, но не отменен,

Самой крупной подготовительной операцией к этому заговору была чудовищная *провокация на фронте.* Корнилов *сдал Ригу* в обмен на смертную казнь. Нарочно,

*) „Биржевые Ведомости“. 17—VIII—17.

по частям, посылались на верную гибель лучшие полки латышских стрелков, сплошь большевистские. Корнилов играл без проигрыша. Если они откажутся повиноваться приказу, на них можно взвалить поражение и уничтожить их руками палачей. Смертная казнь запляшет тогда по всей стране. Если они повинуются, то они погибнут от немецких пуль. Они повиновались, чтобы не дать возможности проходимцам контр-революции клеветать на большевиков. И они погибли. Но их гибель не спасла от клеветы. В то самое время, как Корнилов секретными сведениями „успокаивал" союзных мародеров, сообщая им истинные мотивы сдачи Риги, он пускал из ставки самую гнусную клевету на солдат. Напрасно протестовали армейские организации; напрасно протестовали даже комиссары Временного Правительства; напрасно Войтинский, который в июльские дни призывал к расстрелу рабочих, „перед лицом всей страны" клялся в том, что солдаты вели себя геройски. Ставка непрерывно лгала, сообщая о самовольных уходах с позиций, о неподчинении приказам, о немецких агентах. Новая мутная волна небывалой лжи и предательской травли солдат захлеснула всю страну. „Высокопатриотические" газеты магнатов капитала изображали армию, как сброд жалких трусов, как дикую банду погромщиков. А в ответ на русские официальные сообщения, исходившие от „верховного главнокомандующего", несся отклик капиталистической прессы Запада и Америки. „Matin" и „Times", „Temps" и „Daily Chronicle" так и пестрели эпитетами отборной брани по адресу армии, предаваемой генералами и буржуа: „бегство без боя", „неподчинение приказам", „нелепые армейские комитеты", „изменничество, наблюдающееся в русских войсках", „восстановление железной дисциплины" — словом, вся российская терминология охранников „Нового Времени" и империалистов „Речи" была блестяще усвоена „союзниками", которые были тайно информированы обо всем и которые только помогали Милюковым добиться желанной цели: *казней.*

А „демократия“? Соглашательская рать продолжал, свою прежнюю политику: запуганная воплями об „анархии“ жалкая, побитая, эта „демократия“ Чхеидзе и Церетелли, Либера и Дана находила в себе лишь мужество обрушиваться на большевиков, которые вели энергичную кампанию против расстрелов и казней. Дело дошло до того, что „Новое Время“ с полным правом писало: „Откройте „Известия С. Р. Д.“ Именно то, что печаталось в „Новом Времени“ в апреле, теперь заполняет собой столбцы этого правительственного вестника, с опозданием на два месяца! Это, вообще, норма для медленного мышления товарищей“ *).

„С опозданием на два месяца“ революционная (!) демократия (!!) придвинулась к позиции Сувориных детей!

Но если теряющий доверие масс блок мелкобуржуазных партий занимался перманентной капитуляцией перед контр-революционными силами, то блок этих последних продолжал готовиться к организации выступления. В тылу и на фронте, в столицах и на Дону формировались боевые центры контр-революции. „Верховный главнокомандующий“ и „первый солдат революции“ лихрадочно перераспределял военные силы, выводя из центров революции революционные войска и набивая их „надежными“ кавалерийскими частями.

Вся эта подготовительная работа велась под лозунгом, выдуманным кадетско-генеральскими провокаторами: „*борьба с заговором большевиков*“. Подготовляя заговор помещиков и капиталистов, они кричали о заговоре рабочих; уводя войска с фронта, они обвиняли партию пролетариата в измене; организуя контр-революцию, они вопили о контр-революционности рабочих и солдат; идя на гражданскую войну, они барабанили о гражданской войне со стороны пролетариата; с оружием в руках отстаивая барыши капитала, они объявляли лозунгом *рабочих* лозунг французской буржуазии: „enrichissez-vous!“ („обогащайтесь!“).

*) „Новое Время“, 19—VII—17.

Каждый день капиталистические газеты „назначали“ большевистское восстание. Каждый день они писали о грядущих „погромах“, которые, якобы, будут производить большевики, науськивая обывателя, который по природе труслив, но который становится кровожадным, лишь только он почувствует себя в безопасности: шулера крупного капитала „создавали настроение“ для окончательного удара.

„Трезво оценивая положение, — секретно телеграфировал министру иностранных дел директор дипломатической канцелярии при штабе в ставке, Трубецкой,— приходится признать, что весь командный состав, подавляющее большинство офицерского состава и лучшие строевые части армии пойдут за Корниловым. На его стороне станет в тылу все казачество, большинство военных училищ, а также лучшие строевые части. К физической силе следует присоединить... моральное сочувствие всех несоциалистических слоев населения, а в низах... равнодушие, которое подчинится *всякому удару хлыста.* Нет сомнения, что *громадное количество мартовских социалистов не замедлит перейти на сторону их...* Говорить, что Корнилов подготовляет торжество Вильгельма, не приходится в ту минуту, когда германским войскам *остается преодолевать только наши пространства*“.

Так расценивали „реальное соотношение сил“ заговорщики контр-революции.

По существу дела контр-революционный комплот обнимал собою три сферы. Самый обширный круг включал в себя и Временное Правительство во главе с *Керенским.* Это была сделка двух диктаторов против революции, сделка, которая закреплялась в многочисленных закулисных переговорах, скрытых не только от глаз народа, но и от руководителей той самой „демократии“, которая все еще шла за Керенским. Второй, более узкий круг,—это заговор Корнилова в собственном смысле. Здесь были мобилизованы все наиболее

надежные силы контр-революции во главе с реакционным генералитетом. Наконец, третьей сферой, заговором в заговоре, был монархический заговор кучки бывших придворных Николая под руководством пары сенаторов, титулованных гвардейских офицеров, бывшей фрейлины Маргариты Дурново, великих князей и прохвостов-знахарей из дворцовой клики.

√ *Керенский*, который отлично понимал, что буржуазии нужен уже не он, а Корнилов, шел все дальше и дальше по пути приспособления к контр-революционному курсу. Но ему нужна была хоть видимость связи с массами. Его положение по существу было такое же, как положение провокатора, запутавшегося в сетях охранки: если он не выдает, его расчитывают, но его расчитывают и тогда, когда он разоблачен революционерами, которых он предавал. Керенский потерял уж почти весь кредит у масс. Но для выполнения своей почтенной функции он должен был еще делать грозный *жест* направо, чтобы *в действительности* душегубствовать по отношению к левым.

Выступить открыто против Корнилова—значило бы порвать с финансовой кликой и генералами; войти же с ними открыто в союз—значит уничтожить последние остатки доверия к своей собственной персоне, репутация которой и без того была явно подмоченной. √При таких условиях оставалось одно: разыгрывая комедию борьбы, в действительности идти на закулисные сделки, т. е. фактически вступить *в заговор против революции*. Сделать это было тем легче, что все подручные Керенского были отъявленные корниловцы: Савинков, Филоненко, Бурцев, не говоря уже о членах кадетской партии, были горячими сторонниками государственного переворота в пользу дворянского поместья и банкирской конторы. Вот почему первые приготовления к бою (и к бою уже не только с „большевиками“, но с меньшевистско-эсэровскими *Советами)* были сделаны по распоряжению бонапартистских комедиантов; и Савинков, с согласия

Керенского, подтягивал к Петербургу 3-й конный корпус для расправы с той самой революционной демократией, сторонником которой он себя выдавал.

26 августа Корнилов предъявил свой ультиматум через кн. Львова, одного из министров первого „революционного" правительства. Керенский „арестовывает" Львова. Корнилов, в ставке которого засели „общественные деятели", выпускает торжественный манифест „к русскому народу", где объявляет, что правительство — в руках немцев и большевиков. „Военные действия" начинаются...

В то самое время, как Гучков, Родзянко, Набоков и прочие вожди кадетско-черносотенной буржуазии организуют разбойничий набег из ставки, кадетские министры взрывают правительство изнутри, чтобы обессилить своих глуповатых „социалистических" коллег. Кабинет с шумом и треском разлетается. Начинается невероятная суматоха среди „верхов". После уламываний, переговоров, угроз и просьб, среди сети грязнейших интриг, выплывает на свет божий правительство *Керенского—Шишкина*.

Биржа отвечает на выступление Корнилова всеобщим повышением ценностей. *Международный капитал* в своей прессе с редким единодушием аплодирует „спасителю России". Не только органы союзной банкократии, в роде „Times'a", „Temps" или наемников американских трестов, но и немецкая империалистская печать громко приветствует героя. Английское правительство предоставляет в распоряжение Корнилова свои броневики, чтобы помочь расправе с красным Петербургом. *Оружие и финансы* направляются против рабочих и крестьян.

Одновременно с движением корниловских войск на Петербург, ультиматум контр-революции подкрепляется угрозой *открыть фронт немцам*. Правая рука Корнилова, генерал Лукомский, заявляет, что фронт будет открыт и будет заключено сепаратное перемирие для

того, чтобы бросить войска на кровавую баню в столице. Штемпелеванные патриоты, присяжные охранители „национальной гордости“, Георгии Победоносцы с черным сердцем и красной подкладкой, эти генералы готовы были униженно ползать перед прусским штыком, лишь бы направить часть войск против пролетариев!

Буйный ветер пронесся над страной. *Пролетариат*, который все время был настороже, который тщетно взывал и предостерегал мелко-буржуазную демократию о смертельной опасности, встрепенулся. Рабочие столиц и провинций взялись за оружие. Повсюду, где только была хоть малейшая возможность достать стальных защитников свободы, пролетарии вооружались. Петербург мигом создал Красную гвардию. Рабочие пушечных заводов разом вдвое повысили производительность этих заводов и стали выбрасывать пулеметы, пушки и снаряды для обороны от классовых противников. *Пролетарская партия*, большевики, выкинула лозунг борьбы до последней капли крови, борьбы не за Керенского, а за революцию. И повсюду в этот критический момент на опасные посты ходом самой борьбы выдвинулся рабочий класс и его партия.

Советы и мелкобуржуазная демократия в смертельном ужасе бросились к пролетариям. Большевистские матросы Кронштадта, на которых столько клеветали, которых называли контр-революционерами и врагами свободы, были провозглашены ее лучшими защитниками и спешно вызваны в Петербург. Рабочие, против которых в июле призывались надежные кавалерийские полки и „ударники“, были объявлены оплотом революции. Партия пролетариата, которая раньше третировалась, как сброд преступников, провокаторов и шпионов, была реабилитирована в двадцать четыре часа и признана желанным союзником. Советские вожди мелкой буржуазии шарахнулись в сторону рабочего класса: они отлично понимали, что контр-революция имеет свою логику; они знали, что победоносная корниловская шайка сметет

не только большевиков, но и всех соглашателей; они видели, что реакция готова уничтожить все „Советы и Комитеты“ по требованию Милюкова и Рябушинского. И, дрожа всеми конечностями, они стали жалобно визжать о „единстве революционного фронта“.

Напор *масс* был силен чрезвычайно. Буквально все рабочие организации стали на ноги. В Советах, несмотря на соглашательское большинство, запульсировала новая боевая жизнь. Повсюду—в столицах и в глухих провинциальных городах—создавались революционные органы власти. В Петербурге и Москве снова появился на сцену вооруженный народ. И везде, где только шла речь о мобилизации сил, о влиянии на гарнизон, об ответственных боевых коллективах, *партия пролетариата* оказывалась самой подвижной, самой смелой, самой решительной и боеспособной организацией.

Корниловское восстание отцвело, не успевши расцвесть. Военные силы Корнилова, которые шли на Петербург, будучи обмануты своими генералами, разлагались при первом соприкосновении с войсками, которые высылались против них не столько игравшим комедию борьбы Керенским, сколько советскими организациями, к которым фактически перешло военное руководство. А в городских центрах, где георгиевские кавалеры, ударники и ударницы, офицеры и генералы так много говорили о светлом „дне“ и где они с таким „мужеством“ носили корниловские значки, демонстрируя свое суверенное презрение к „разнузданной черни“,—эти герои совсем не решились выступить. Они знали цену своим союзникам—обывательской массе, которая смела только тогда, когда она в безопасности. Поддержка *Каледина*, который должен был двигаться с юга и отрезать север от подвоза хлеба, выразилась лишь в том, что на Москву, вместо хлеба, в течение нескольких дней двигались вагоны с арбузами и подсолнухами. Разбойное нападение на народ провалилось. Заговорщики явно переоценили свои силы. Но они и недооценили сил

революции. „Городские низы“ не только не выражали склонности подчиниться „удару хлыста“, как на то надеялись бандиты капитала. Эти низы в ответ на выступление генерала единодушно воскликнули: „Смерть или победа!“ и с энтузиазмом, который способен развить только трудящийся, сияющий вдохновеньем, понимающий свои великие исторические задачи, молодой и героический класс, они бросились на аванпосты гражданской войны.

Братанье было основным методом разложения корниловских войск. Даже полудикие текинцы, из которых лихой генерал сформировал отборные когорты для спасения буржуазной цивилизации, даже эти „дикари“, которых вздумали приучить для расправы с гуннами „социализма, коммунизма и анархии“, теряли свою рабо-лепную преданность Корнилову. Военное наступление на внутреннем фронте, которое подготовлялось в изысканнейших салонах российских меценатов, о котором буржуазная печать малиновым звоном звонила во все колокола, это выступление вдруг сморщилось, как проткнутая спицей вербная колбаса, а суровый герой буржуазии предстал, как упрямый тупица, который отличается всем, чем угодно, но только не гениальностью победоносца.

Корниловский мятеж сыграл роль, прямо противоположную той, которой добивалась буржуазная каморра: он раскрыл глаза не только отсталым рабочим, но и крестьянам, не только тылу, но и фронту; он вызвал крупнейшую перегруппировку сил и необычайно укрепил позицию партии *революционного пролетариата*.

Соглашательская власть, которая открыла настежь ворота для торжественного въезда контр-революции, могла возникнуть и держаться лишь на основе *бессознательного доверия* масс к капиталу и их *добросовестного оборончества*. И в такой же степени массы могли признавать своими руководителями эсэров и меньшевиков. Сентиментально-наивное, радостное возбуждение мартовской революции, этой „общенациональной“ революции, когда даже прожженные плуты финансовой олигархии

притворялись умиленными и подносили белоснежные платки к заплывшим глазкам, доверие обманываемых масс к грузным „вождям революции“ во фраках, вроде Родзянко и Львовых,—теперь таяло, как дым. Ход классовой борьбы разбивал все иллюзии, снимал все покровы, безжалостно срывая маски со всех героев обмана и показывая массам настоящий звериный лик этих „радетелей о народе“. Буржуазные империалисты и социал-предательская пресса, которым раньше верили настолько, что в июльские дни буржуазии удалось создать осадное положение для пролетарской партии, травимой на всех перекрестках,—*теперь* потеряли доверие масс окончательно и бесповоротно.

Рабочий класс, который уже ко времени Московского Совещания шел в своем большинстве за революционной социал-демократией, быстро изживал все остатки мелкобуржуазных иллюзий, которые раньше сохранялись среди его отсталых слоев.

Крестьянство увидело в корниловском выступлении нападение со стороны помещиков и реальную угрозу своим мечтам о земле. Если раньше крестьяне, к великой радости всех крупных собственников, „терпели“ и откладывали решение вопроса „до Учредительного Собрания“, о чем так усердно заботились и старались господа эсэры, то теперь даже их терпение лопнуло. Как раз вслед за корниловским движением помещиков началось сильнейшее движение крестьян, местами переходившее в настоящее *крестьянское восстание.* Капиталистическая пресса с ужасом отмечала это, занося аграрные „беспорядки“ под рубрику „анархии“ и „погромов“. На самом деле аграрное движение было признаком *роста* крестьянского сознания, которое уже не мирилось с вечными посулами. „Самочинные захваты“, так ненавистные буржуазии, стали обычными явлениями. Земля быстро уплывала из рук помещиков и стала прочно оседать в руках крестьян.

Армия, некогда слепо верившая Керенскому, втянутая в позорное июньское наступление, теперь, после

удара палаческого хлыста, преисполнилась ненависти ко всему командному составу, вплоть до офицерства. Командный состав, который оказался насквозь корниловским, который ввел смертную казнь, который клеветал и травил солдат, предавая их на каждом шагу, третируя прежнюю „святую скотинку", как презренную чернь, — этот командный состав почувствовал на себе пристальный, ненавидящий взгляд всей многомиллионной армии. Классовая борьба, которая потрясала все общество, перенеслась с небывалой силой и на фронт. Раз навсегда армия сбросила с себя давление империалистов.

Наконец, корниловская эпопея чрезвычайно обострила *национальные* вопросы. Корниловщина была отчаянной попыткой российского великодержавного империализма. Под фальшивым лозунгом „единой и неразделенной России", который выставлялся патриотическими генералами и генеральствующими патриотами из „торгово-промышленного класса", скрывалась привычная душительная политика империалистских громил, которые наслаждались ею еще во время блаженной памяти царизма. И если генералы с нагайкой и без нагайки выставили лозунг „единой и неразделеной", то это означало, что все так называемые „инородцы" должны были закричать караул. Так корниловская „авантюра" и ее поражение вызвали рост национально-сепаратистских стремлений и разложение российского империализма.

Политический рост классового сознания широких народных масс выразился в полном *крахе соглашательских партий.*

Меньшевики, которые опирались в значительной степени на отсталые, зараженные мелкомещанскими предрассудками, упованиями и верованиями слои рабочего класса, почти исчезли с политической арены, как партия; ибо крах иллюзий шел особенно быстрым темпом как раз среди пролетариата: эти иллюзии изживались с почти катастрофической быстротой.

Эсэры стали переживать периоды внутреннего разложения, все резче распадаясь на идеологов крепкого мужичка-мироеда и на идеологов беднейшего крестьянства; этот процесс нашел себе выражение в выделении у эсэров левого крыла, которое усиливалось с каждым днем. Наконец, как снежный ком, стала расти *партия пролетариата.* Страна все больше и больше распадалась на *два* враждебных лагеря: один, во главе которого стоял *революционный пролетариат и его партия,*—этот лагерь становился лагерем всех трудящихся, „народным" лагерем; и другой—он объединял все фракции господствующих классов, начиная от бывшей дворцовой фрейлины и кончая лабазником и деревенским ростовщиком; во главе этого лагеря стоял *финансовый капитал и партия народной измены.*

Перед буржуазной камарильей ход событий поставил теперь прямую задачу гражданской войны. Исчезнувшее доверие масс к капиталу, полное разложение соглашательских партий, лихорадочно-быстрый рост партии пролетариата, все это вынуждало буржуазию ориентироваться на гражданскую войну. Править обманом, лестью, соглашением; править через посредство „социалистических" предателей; притворяться демократами, занося нож смертной казни,—было уже нельзя. Оставалось одно: новые попытки вооруженной контр-революции.

Но прежде, чем довести дело до решительного боя, история заставила страну пойти еще раз под театральной аркой всероссийской комедии: имя этой комедии—„Демократическое Совещание".

„Ликвидация" корниловщины.—Демократическое Совещание.

Напор низов отвел в сторону ту петлю, которую уже намылил для народа Лавр Корнилов, авансом стяжавший себе лавры буржуазного признания. Хотело или не хотело того бонапартистское правительство, — факт оставался фактом. Оставалось лишь с ним так или иначе считаться.

Из всей позиции Керенского вытекала одна директива: продолжать линию фиктивной „борьбы с контрреволюцией“ и реально бороться налево. Именно такова была сущность того (политического) фарса, который представляла из себя „ликвидация“ корниловщины.

Сама „власть“ стала представлять поистине трагикомическую величину. Кризис следовал за кризисом. На фоне общего политического разврата в верхах там суетилась шайка бонапартистских стервятников, которая составилась из самых разнообразных элементов, претендующих на первые роли: Савинков, бывший боевик и террорист, позже автор слезливой проповеди против убийства, а еще позже автор смертной казни; Филоненко, человек, у которого, по его собственному признанию, „не моргали веки“ и „не дрожал голос“ перед смертными приговорами для солдат, „социалист“, который сдабривал корниловские афоризмы изрядной порцией садическо-сологубовской отсебятины; сам Керенский и целая компания кадетообразных и даже кадетских „помощников“, которые стояли у порога и прямо „вожделели“. Наконец, из грязной пены взаимных надувательств и сделок за занавеской вышла подозрительная во всех отношениях *российская директория,* крестными отцами которой были, с одной стороны, Церетелли-Гоц, с другой—герои кадетской партии, которые предпочитали остаться за кулисами. „Совет пяти“ не блестел именами; во главе стал, конечно, Керенский, который рукоположил четырех „по образу и подобию своему“: Терещенко, Верховского, Вердеровского и Никитина, причем Верховскому и Вердеровскому была отведена „техническая роль“.

Так составилась директория, долженствовавшая, очевидно, быть переходным мостиком к консулату. Простодушный трудовик Булат откровенно признал ловкость рук гражданина Керенского: „Пока мы тут судили да рядили, власть была создана без нас... Кто знает, может быть, нам и собираться здесь (т. е. в Ц. И. К. *Н. Б.*)

более не придется. У нас введено военное положение. К нам явятся, сошлются на какой-то параграф и разгонят"...

Итак, власть конструировалась просто: она была избрана Керенским, утверждена Керенским, сделана ответственной перед Керенским. Керенский—единственный источник независимой власти. Керенский—единственный сосуд благодати, излиянной еще правительством первого состава. Керенский—„общепризнанный" глава „государства российского". Так, по крайней мере, казалось. И так было фактически. Но это были, в сущности, уже последние усилия клики изменников демократии, клики, которая начинала все более и более повисать в воздухе, потеряв уже всякую опору слева и быстро теряя,—несмотря на все старания сохранить ее,—опору справа.

Образование директории, в сущности, означало бескровную *победу генерала Корнилова*; оно было легальным плодом нелегальной сделки между героем нагайки и авантюристом языка: план Корнилова как раз и заключался в создании директории. Правда, в решительную минуту Керенский не поддержал Корнилова: тогда во главе директории был бы Корнилов. Но по существу дела власть, персоннифицированная в пяти диктаторах и независимая ни от кого, кроме одного обер-диктатора,—такая власть была полной победой генеральских принципов.

Форме вполне соответствовало и *содержание*. „Ликвидация" корниловского мятежа приняла характер настоящего издевательства над массами. Сперва Корнилов, торжественно объявленный изменником, был оставлен фактическим главнокомандующим, впредь до замены. Потом Керенский произвел себя в главнокомандующие, назначив начальником штаба—т. е. опять-таки фактическим главнокомандующим—генерала Алексеева, царского палача, ближайшего друга генерала Корнилова, прямого соучастника корниловского заговора и посредника между

Корниловым, Рябушинским и Милюковым; Алексеева, который в начале революции угрожал расстрелом „революционным бандам, едущим из Петербурга!“ Алексеева, которого он же в первые месяцы революции должен был выгнать под напором всеобщего гнева и возмущения! Алексеева, который на „малом совещании“ московских деятелей выговорил „золотые слова“, повторенные им на „Государственном Совещании“ и отпечатанные Рябушинским по рекомендации Милюкова! Вот этот-то субъект и был назначен очищать армию от контр-революции. Более того, ему же, соучастнику заговора, поручено было расследовать дело о заговоре. Керенский, сам захлебнувшийся в грязи, поручает своему сообщнику расследовать дело их главного компаньона!

Объявленный изменником, главнокомандующий попал, таким образом, вместо эшафота в первоклассную гостиницу, получив в качестве „охраны“ верные ему войска. Кадету Пальчинскому поручается надзор за Петербургом. Реакционнейшие генералы, которые только по обломовщине не успели (или по трусости не хотели) открыто перейти на корниловскую сторону, оставляются на местах или получают повышение. Революционные комитеты, которые были выдвинуты в корниловские дни и которые руководили военными действиями против Корнилова, объявлены вне закона. Они, спасшие революцию и республику, провозглашаются „врагами республики!“

„Самочинных действий — гласил приказ от 4 сентября — в дальнейшем допускаемо быть не должно, и Временное Правительство будет с ними бороться, как с действиями самоуправными и вредными республике“. Это в то самое время, как „борьба“ с Корниловым, очевидно, не „самоуправная“, препоручается шайке корниловских пройдох. В то время, как ведутся официальные переговоры о вхождении в кабинет с вождями кадетской партии, уличенной в заговоре! В то самое время, как *Маклаков* назначается послом за границу!

Но для масс все же нужно было создать „прикрытие“. Это прикрытие нашли, обрушившись на гвардейцев во главе с бывшей фрейлиной. Скрывать заговора вообще было нельзя. Так пусть за все расплачивается Маргарита Хитрово!—таков был план почтенной компании, которая охотно выдала группу своих почти единомышленников, чтобы выйти самой в более или менее сухом виде из воды. Началась смехотворная „расправа с заговорщиками“: почистили „Двуглавый Орел“ в Киеве, общество „Русский Богатырь“, арестовали (чтобы потом тотчас выпустить) пару бывших великих князей, но предусмотрительно оставили душу *настоящего*, а не опереточного заговора: Милюкова и Гучкова, Родзянко и Рябушинского, Путилова и Вышнеградского, Корнилова и Каледина, центральный комитет партии народной измены и „малое совещание“ деятелей-заговорщиков,—словом, всех тех, кто совместно с Керенским договаривались о плане „коллективной диктатуры“ крови и железа.

Капиталистические газеты, которые в дни долженствовавшего быть великим пришествия Корнилова, кровожадно лязгали зубами и которые прикусили было язык в дни его поражения, вновь подняли голову и стали снова переходить в наступление. Официальные лица из прокуратуры с такой же наглостью обеляли Корнилова, с какой ранее они чернили партию пролетариата. И наряду с черносотенным прокурором Александровым „демократ“ Сталь, кивая на большевиков, заявлял: „Я считаю, что заговор справа и слева одинаково преступен перед страной“, а услужливые юристы-газетчики объясняли, что преступления „против существующего строя“ со стороны Корнилова не было по той простой причине, что „сейчас в России нет никакого строя“ *). Так называемая квалифицированная интеллигенция—историки, адвокаты, поэты, ученые и диллетанты—бросилась снова в атаку против рабочих: почти-марксист, проф. Виппер,

---

*) „Русское Слово“. 25—VII—17 г.

позабыв свои очерки теории исторического познания, рассказывал в органе Рябушинского, что вся русская революция—порождение злой воли германского генералитета, а его коллега по газете, воспевший когда-то рабочее восстание, Бальмонт, стал слагать вдохновенные оды Корнилову, раболепно именуя владельца тупоазиатской физиономии „гордым лебедем“ российской цивилизации.

Но господа капиталисты были чрезвычайно недовольны и поведением Керенского, от которого они требовали или большей решительности или отставки в пользу Корнилова. Последнее было планом, выработанным заговорщиками. Ведь Керенский в самый критический момент не поддержал Корнилова вооруженной силой, а играл комедию борьбы с ним. Такая роль была уже не совсем по вкусу реальным попыткам текстильных и металлургических королей. И они начали энергичную кампанию, разоблачившую всю двойную игру ненавидимого демократией „демократа“ Керенского Кампания была открыта органом Рябушинского „Утро России“. Документально было доказано участие Керенского и в подготовке плана военной диктатуры, и в стремлении раздавить Петербург и Кронштадт, и в вызове третьего военного корпуса, и в провокации „заговора большевиков“, и в подготовке разгона Советов; всплыл целый ворох интриг, обманов и взаимных предательств. Каждый новый день приносил сведения одно сенсационнее другого. Всем становилось ясно, что наряду с *корниловщиной* существовала *керенщина,* которая „принципиально“ отличалась от первой лишь двуличием и трусостью. „Ты хочешь улизнуть? Но ты наш, ты уже продал свою душу и получил изрядный аванс!“—говорил буржуазный дьявол министериабельному пану Твардовскому, имевшему уже тогда почти миллионный текущий счет.

Как ни старалась директория Керенского загладить свои грехи перед буржуазией, последняя, спасая Корнилова, шла напролом. Правда, Керенский провозгласил

республику, чтобы доказать, что в России „есть строй“. Но он закрыл в Петербурге „Рабочего“ и „Новую Жизнь“, под предлогом борьбы с анархией спешно подготовлял карательные экспедиции против Ташкентского Совета и вел переговоры с московскими тузами: Коноваловым, Бурышкиным, Четвериковым, Третьяковым и Смирновым, т. е. цветом московского „малого совещания“. Он пытался распустить „Центрофлот“. Он назначил в Военный Совет изобличенного корниловца Клембовского. И все-таки буржуазия не щадила уже своего приказчика: ей нужен был другой.

В то время, как наверху шла непрерывная игра в министерскую чехарду, которая была так характерна для царского режима, при помощи персональных заместительств думавшего заштопать огромную дыру своей классовой сущности, в низах происходил процесс быстрого „левения“. Этот процесс нашел свое выражение и в изменившейся позиции главнейших Советов. Меньшевистско-эсэровские руководители пытались системою бюрократических перегородок закрепить свое влияние и отгородить себя от всякого „посягательства“ масс. Но чем быстрее левела „страна“, тем в большей степени Советы вновь становились органами классовой борьбы пролетариев и солдат против империалистской государственной власти, тем скорее стряхивали с себя почтенную функцию простых департаментов этой власти. Перевыборы одних их членов, полевение других привело к тому, что Петербургский Совет перешел к большевикам. Президиум Исполнительного Комитета во главе с Чхеидзе-Даном был вынужден подать в отставку. А вслед за Питером Московский Совет Рабочих Депутатов дал большинство партии революционного пролетариата. Напрасно Центральный Исполнительный Комитет выносил резолюции доверия бонапартистской пятерке. Было ясно, что руководящая роль уже уплывает из рук этого мертвеца и *переходит к революционным Советам обеих столиц*.

Мелкобуржуазные вожди все более теряли даже свою собственную базу. Если раньше они удачно выражали половинчатость мелкой буржуазии,—крестьян, городской бедноты, отсталых слоев рабочего класса,—то теперь они заворачивали довольно круто направо: *масса мелкой буржуазии* обнаруживала тяготение к пролетариату; ее *вожди* обнаруживали еще большее тяготение к крупному капиталу. Бюрократизировавшаяся верхушка Ц. И. К., под давлением масс умерившая было несколько свой реакционный пыл и свое холопское усердие, теперь снова устремилась на всех парах к блоку с цензовой буржуазией и, боясь признать открыто свое почтение к кадетам, совершенно скомпрометированным корниловщиной, тащила последних к правительству, как „деловые кандидатуры",—маска, под которой постоянно ходят политические фокусники и обманщики по профессии. При таких условиях, страшась растущей большевистской заразы, эти господа, наполовину уже спевшиеся с цензовиками и превратившиеся сами в „бонапартят", должны были искать себе иную социальную точку опоры, чем та, которая была у них раньше. А, с другой стороны, им нужно было, в виду быстрого роста большевизма не только в стране, но и в советских организациях, противопоставить Советам какую-нибудь иную, „тоже демократическую" и при том общероссийскую силу. Отодвинуть назад Советы, санкционировать коалицию, создать организацию крепкой средней буржуазии, чтобы через нее могла править финансовая олигархия, наконец, предупредить натиск большевиков, поставив солидный „демократический" барьер против революционной „анархии",—таков был план Либеров и Данов, имена которых уже стали нарицательными для лиц социал-предательского типа.

Из таких потребностей возник план „Демократического Совещания". Цель, поставленная верхушками Ц. И. К., состояла в создании маргариновой демократии. Неудивительно, что эта цель могла реализоваться

только путем подлога. Если Московское „Государственное“ Совещание должно было фальсифицировать голос „нации“, доставить вместо этой нации вешателей в погонах и без погон, то Демократическое Совещание должно было фальсифицировать голос демократии, подставив, вместо крестьян, солдат и рабочих,—зажиточного середняка и корниловского интеллигента.

Советам, этим единственным представителям революционной демократии, было отведено третьестепенное место. На первые места пустили представителей земств, городов, кооперативов, к которым присоединился еще целый хвост профессионально-интеллигентских организаций. *Земства* тем легче смогли послужить новой базой для просчитавшихся вождей, что многие из них не были даже переизбраны и, таким образом, с царским штемпелем на лбу могли пригодиться для какого-угодно трюка, лишь бы только он был понятным. *Города* выражали уже вчерашний день революции; право-эсэровско-кадетское большинство дум, одобрявшее казни, ни в коей мере не соответствовало уже настроению широких городских масс. Наконец, *кооперативные служащие*, которых зажиточные мужички выбирали для торговли селедками и мылом и которым они отнюдь не вручали никаких политических мандатов, обладали для гражданина Церетелли вполне достаточной благонадежностью: ибо Жанна д'Арк кооперативных политиков, г-жа Кускова, заявляла на съезде кооператоров под восторженный рев своих единомышленников из кадетского лагеря, что даст отрубить себе руку, если эта рука опустит бюллетень с кандидатами той партии, к которой принадлежала сама воинственная кооператорша: даже либердановские меньшевики казались ей слишком красными!

Будучи подложным по существу, Демократическое Совещание не могло не заниматься подлогами во весь период своей деятельности. Уже Керенский, предварительно объявивший через прессу о частном характере Совещания (для государственности здесь все же не хватало

Рябушинского и Каледина!), „дал тон“ почтенному собранию, заявив о том, что „корниловщина до конца была подавлена мною“, т. е. Керенским (это говорилось как раз тогда, когда следственная комиссия сказала во всеуслышание, что ей „тяжело допрашивать Корнилова!“)

Затем полились бесконечные речи бывших и настоящих министров, а за ними бесчисленных представителей бесчисленных организаций. Чернов рассказывал, как ему не давали работать в коалиционном министерстве, и высказывался за коалиционное министерство. Скобелев, который обещал в свое время взять 100% с буржуазии, нечленораздельно повествовал о трудностях работы и высказывался за коалицию. Зарудный потешал публику скверными анекдотами из министерской жизни, утверждая, что он ничего не понимал и не понимает, и высказывался за коалицию. Словом, все министры, привыкшие к удобствам соглашения, горой стояли за него. А „масса“, искусно свезенная специалистами надувательства, дала 766 голосов за коалицию и 688 против. Советы в подавляющем большинстве голосовали против, в еще более подавляющем большинстве голосовали против и профессиональные союзы; целиком против высказывался флот; даже половина старых армейских организаций отвергла коалицию. Коалиционисты победили, выехав на тех, кому они заранее обеспечили перевес: на земцах, гласных дум, кооператорах, вместе с социал-предателями изо всех других учреждений. Но когда поставили вопрос о кадетах, то даже это подобранное большинство не осмелилось голосовать за корниловскую партию народной измены. Как ни пели социал-предательские соловьи, этот номер не прошел. И когда стало ясно, что коалиция с буржуазией без кадет—это nonsens, когда перед меньшевиками и эсэрами стал вопрос об образовании социалистической „безбуржуазной“ власти, они в ужасе отшатнулись от такой перспективы и голосовали против резолюции в целом.

В результате получилось, что Демократическое Совещание провалило свою собственную резолюцию и осталось в нитях, открыв свою дряблую убогую наготу.

Но тут на сцене появились профессиональные фокусники, от них же первый „благородный Церетелли". Путем прямого обмана чуть было не проводится позорнейшая резолюция, предлагающая создать орган, который был бы „санкционирован" Бонапартом и „содействовал" бы правительству в создании власти. Большевики во главе с Троцким, блестящие и мужественные речи которого выводили из себя всех зубров и всех холопов, демонстративно ушли в ответ на сцены издевательства и позора. Поправки, подсунутые Церетелли, были, однако, сняты. Но фактическая политика, явившаяся результатом сделки между Керенским, Церетелли, Гоцем и К⁰, между кооператорами и цензовиками, за которыми стояла и ненавистная партия народной измены, эта политика продолжала проводиться героями Совещания и дальше. Принятые резолюции предлагали при создании власти „требовать осуществления программы 14 августа", т. е. той программы, которую Чхеидзе так горячо защищал в присутствии Каледина и при отсутствии пролетариата на Московском Совещании.

Если Московское Совещание в Большом театре было повивальной бабкой корниловского заговора, то гора Демократического Совещания родила, прежде всего, смешную мышь „предпарламента". Безвластный законосовещательный орган при Керенском, жалкая канцелярия, где сокращенный состав Совещания дополнялся изрядной порцией цензовиков во главе с кадетами, против которых в свое время голосовало Совещание, — таков был результат прений „о власти". Задача уничтожить безответственность бонапартиста нашла свое разрешение в создании „предбанника", ответственного как раз перед тем, чью безответственность он должен был преодолеть.

Демократическое Совещание оказалось бесплодным, как евангельская смоковница. Но, когда господа кадеты

злорадствовали над „бессилием демократии“, они отлично понимали, что их злорадство—показное. Они прекрасно видели, что бессилие своза, устроенного Церетелли и одобренного Керенским, имеет мало общего с демократией, которая усиливалась с каждым днем *за стенами Александринского театра.*

„... В результате цепи событий,—писала банковская „Русская Воля“ при открытии Демократического Совещания,—заполняющих период с момента поражения на фронте до момента поражения контр-революции, поднял голову демагогический большевизм, и „организованная демократия“ Петрограда оказалась в плену у ленинцев. Этот политический результат шестого революционного месяца также может быть назван „потрясающим“, как бы ни было относительно его значение... Под действием этих событий открылось совещание демократических организаций“...

Неудержимый рост партии пролетариата, которая—как заявила об этом с чувством дамы-патронессы г-жа Брешковская—„портит наших хороших, добрых рабочих, крестьян и солдат“, это усиление трудовой революционной армии ставило буржуазию в поистине критическое положение. В стране нарастал конфликт за конфликтом: стачка жел.-дорожных рабочих, разрастающиеся крестьянские волнения, мобилизация советских сил,—разве не ясно было, что волна гражданской войны захлеснет жалкую постройку предпарламента?

Правительство гражданской войны—Октябрьская революция.

„Вся власть Советам!“ „Созыв Второго Съезда!“—таков был лозунг, с которым большевики шли на Демократическое Совещание и в предпарламент. Партия пролетариата отлично понимала объективную неизбежность гражданской войны. Перед крупной буржуазией не было никакого выхода, кроме открытого нападения на народ, против которого она вела перманентную

партизанскую войну. В ответ на лозунг пролетариата Керенский громил ташкентский Совет; в ответ на голос крестьян „его“ правительство продолжало аресты земельных комитетов; в ответ на вопли железнодорожных рабочих и донских рудокопов их „усмиряли“; в ответ на требование признания прав Финляндии посылали карательные экспедиции и удаляли революционные части; в ответ на резолюции рабочих об освобождении большевиков освобождали тюремщиков и жандармов; наконец, в ответ на единодушный клич всего народа: „Долой изменников-кадетов!“ Керенский назначил кадетское министерство с ливрейными лакеями из бывших социалистов. После всех разоблачений, после травли армии кадетами, после поражения кадетского мятежа и измены, после предательства под Ригой, после чудовищной провокационной игры, ставкой которой была смертная казнь,— Керенский бросает вызов, назначая в министерство клейменных изменников!

Правительство гражданской войны—под таким названием вошел в историю новый кабинет российской республики.

Коновалов, крупнейший московский промышленник, идеолог и практик всероссийского саботажа, — министр торговли и промышленности и заместитель премьера. Разве теперь не будет покончено с локаутчиками? *Третьяков,* тоже промышленник и биржевик, один из монополистов текстильного района—председатель Экономического Совета. Разве не будет теперь устранена разруха? Государственным контролером определен *Смирнов,* Смирнов, который на своей фабрике не только держал рабочих на голодной плате, лишал их огня и воды, но и морил своих лошадей, чтобы затем иметь возможность закрыть из политических соображений предприятие. Разве теперь не будет достаточного контроля над государственными финансами? Разве этот людоед не приведет в порядок расстроенного государственного хозяйства? Министром иностранных дел оставлен *Терещенко.*

Но разве он не выказал своего пламенного усердия в деле мира? *Ефремов* назначен полномочным министром и чрезвычайным посланником в Швейцарию. Но разве он не зарекомендовал себя в качестве лучшего друга английского империализма? И неужели это не является достаточной гарантией для мира и свободы? *Кишкин*, с которым отказались иметь какое бы то ни было дело московские Советы, утвержден в звании министра призрения. Кто же может сомневаться в том, что он исполнит свой долг перед революцией?...

„Социалистическая“ туманность — сотрудник „Русского Слова“ Бернацкий, „рабочий“ Гвоздев, адвокат Малянтович и другие dii minores, расположившиеся вокруг ярко империалистского („делового“), кадетско-корниловского ядра,—заранее была обречена стоять на запятках триумфальной колесницы „торговли и промышленности“. Правда, кабинет был одобрен господином Бьюкененом. Более того, англо-французские друзья занимались прямо-таки политическим вымогательством и шантажем, чтобы получить желательный состав правительства своей новой полуколонии, и это правительство возникло лишь после таинственных собеседований российских бонапартят с послом его величества Георга. Но русскому народу от этого не становилось легче. Объективная роль нового кабинета могла быть только одной: это была *провокация гражданской войны*.

Господа из Временного Правительства надеялись при этом на поддержку обывателя и тех середняков, которые объединились на Демократическом Совещании под политической гегемонией кооператоров.

„Я должен прямо сказать,—писал в банковско-демократическом „Дне“ один из крупнейших сотрудников этой газеты,—вполне разделяя политическую платформу кооперации, нельзя не видеть, не чувствовать, что отсюда двинется масса бойцов, жаждущих реванша за все то темное и злое, что принес и приносит с собою большевизм в самом широком смысле слова. И я убежден:

это будет не только словесный бой". А официоз Керенского, Савинкова и К⁰, „Воля Народа", бил в набат и звал под знамена борьбы с большевизмом, утверждая, что „соглашательству нет места" и что „демократия должна объединиться и железной рукой принудить большевизм покориться ее воле".

В растущем остервенении лабазника, адвоката и кооператора отражался собственнический страх перед надвигающимся коммунизмом. Этот страх вгонял их в холодный цыганский пот: напуганному воображению уже рисовались ужасы грабежей, убийств, всеобщего „дележа", погромов и „резни".

Средний буржуа, несмотря на свой убогий и засаленный реализм торгаша, никогда, в сущности, не бывает реалистом; и, несмотря на свою трезвенную рассудочность, он весь во власти двух эмоций: страха, когда его дело плохо, и мести, когда „он" победил. Он запирает на цепь свою квартиру и засовывает под подушку свой бумажник, когда в этом не представляется никакой необходимости даже с точки зрения его интересов; он делается молчаливым, как схимник, со сладострастием почитывая крикливые статьи своих идеологов, когда ему еще предоставляется полная свобода слова. Но он выкалывает тростью глаза побежденным врагам и готов привести жену, дочь и сестру смотреть на казнь своих политических противников. Его подлость и мстительность прямо пропорциональны его трусости.

Как ни преувеличивал этот буржуа грядущие „ужасы", но он угадывал своим почти звериным инстинктом неизбежность схватки. В это время вполне сознательно готовился к ней *финансовый капитал* со своими подсобными силами.

Обострение классового напора со этой стороны шло разом по всем направлениям. В *экономической* области систематически и упорно проводился план Рябушинского—взять рабочих „костлявой рукой голода". „Скрытые" и „открытые" локауты учащались. При полном

развале промышленности и дезорганизации всего хозяйства „торгово-промышленный класс“ умело подливал масла в огонь сознательно рассчитанным саботажем, который рос и рос. Господа министры решили, наконец, централизовать это дело и *организовать* дезорганизацию, подняв саботаж до принципиальной высоты государственно-национальной задачи. Именно с этой целью, т. е. с целью искусственного увеличения и без того немалой безработицы и голода, Смирновы и Коноваловы стали с величайшим усердием проводить разгрузку—сперва Петербурга (это был наиболее красный—а потому и наболее опасный пункт), а затем и московского района. А в то время, как торговцы и промышленники орудовали на фабриках и заводах, финансирующие учреждения стали проводить в усиленном размере ту же политику по отношению к „новым“ думам, особенно большевистским, отказывая им в каком бы то ни было кредите. В самом деле, разве можно было придумать какое-нибудь более „общенациональное дело“, чем медленное затягивание уже намыленной петли?

Политика дополняла экономику. И, прежде всего, „*международная*“ политика. Пламенные патриоты не прочь были уже заключить какой-угодно мир в обмен на усмирение рабочих и крестьян. Таинственные заграничные совещания, сведения о которых просачивались в прессу, выражали эту назревшую потребность.

Подготовка сдачи Петербурга с одновременным его расстрелом немецкими пушками—стала затаенной мыслью российских буржуа.

Наконец, вооруженные удары готовились и изнутри. Повсюду стали мобилизовываться разбитые в корниловские дни организации, окопавшиеся наиболее крепко на Дону. Из этой *русской Вандеи* должен был быть открыт крестовый поход на революцию русского народа.

Рабочий класс с своей стороны напрягал все усилия, готовясь от обороны перейти в наступление. Для широких

рабочих масс необходимость борьбы за власть становилась ощутительнее, чем когда бы то ни было. Экономические стачки, которыми пролетариат пытался отвечать на натиск капитала, не помогали. Они прямо провоцировались капиталом, который превращал это орудие борьбы в локауты, проводимые руками рабочих. Власть Советам! Власть Съезду Советов! Низвержение правительства!—эти лозунги стали настолько популярными, что не нуждались ни в каких пояснениях.

Крестьянство все более повышало свою активность, переходя к прямому восстанию против помещиков; его не могли запугать уже никакие репрессии, в изобилии сыпавшиеся ему на голову. Кризис назревал с поразительной быстротой...

Декларация, опубликованная новым правительством, вполне подтверждала наихудшие опасения: вести войну „в единении с союзниками"; „упорядочить" земельные отношения „без нарушения" прав существующего землевладения"; повысить косвенные налоги; наконец, вести „самую решительную, последовательную, систематическую борьбу со всякими проявлениями контр-революции и анархии",—такова была „программа". В переводе на простой язык это означало: международный разбой, охрана помещиков, обирание масс, удушение революции. Таковой должна была быть и такой стала программа правительства гражданской войны.

Что касается вопроса о *конструкции власти*, то он был „решен" „Положением о Временном Совете Российской Республики", обнародованным за подписью гражданина Коновалова. Именно последнему было предоставлено решить судьбу предпарламента, который должен был бы решить судьбу Коновалова. В „Положении" сказалась с поразительной ясностью роль социал-патриотических предателей: они добились, чего хотели! И без того кургузые права демократии были ощипаны со всех сторон. „Совету Республики" было благосклонно разрешено „обсуждение законодательных предположений,

по коим Временное Правительство признает необходимым иметь заключение Совета"—таковой оказалась почтенная функция этой придворной канцелярии Керенского.

„Законосовещательный Совет Республики", который долженствовал быть оплотом одновременно и против Учредительного Собрания (Львов, Караулов и прочие уже кричали о необходимости еще раз отложить выборы) и против Советов Рабочих, Солдат и Крестьян,—был, в сущности, сразу же *взорван партией пролетариата*. Большевики *ушли* из этого „реформированного" предпарламента, и он сразу же потерял значение центра, в котором отражалась вся напряженность классовой борьбы.

Пролетариат все с большей настойчивостью мобилизовал силы Советов. Областной Комитет Армии, Флота и рабочих Финляндии обратился с резким воззванием против правительства, посылавшего контр-революционные войска в Финляндию; началась подготовка ряда областных и армейских съездов. Закипела лихорадочная работа по созыву Всероссийского Съезда, который в свое время был решен—под сильным давлением со стороны масс—и Центральным Исполнительным Комитетом. Фокусом политической жизни становился, таким образом, не жалкий Совет Республики, а грядущий съезд российской революции. В центре этой мобилизационной работы стоял Петербургский Совет, который демонстративно выбрал своим председателем Троцкого, самого блестящего трибуна пролетарского восстания.

В это самое время верхушки старой советской бюрократии, те, которые еще во время Демократического Совещания пятились от Советов, чувствуя, что там уже почва окончательно потеряна, теперь окончательно зафиксировали свое предательство. Официальный орган Советов стал вести борьбу за *уничтожение* этих Советов.

„Временную организацию Советов—писали „Известия"—мы (!) хотим заменить постоянной, полной и всесторонней организацией государственного и местного

строя жизни. Когда пало самодержавие и вместе с ним весь бюрократический порядок, мы (!) построили Советы Депутатов, как временные бараки, в которых могла найти приют вся демократия. Теперь вместо бараков строится постоянное каменное здание нового строя, и, естественно, люди постепенно уходят из бараков в более удобные помещения по мере того, как отстраивается этаж за этажем".

Бесприютные оборонцы решили перейти „в более удобные помещения" новой булыгинской Думы, которой было дозволено „ставить вопросы" бесконтрольной клике... Так низко пали „демократы" и „социалисты"! Но они не только прокламировали свое отречение: они повели ожесточенную кампанию за *срыв* уже назначенного на 20 октября съезда. В бюро Ц. И. К. гражданин Дан, эта старая лиса соглашательства, лицемерия и закулисных сделок, первый поставил вопрос об отмене съезда. Это не удалось. Но все агенты Ц. И. К. на местах, все меньшевики и правые эсэры стремились сорвать съезд или, по меньшей мере, его дискредитировать: „съездом срывают Учредительное Собрание", „съезд не нужен, так как „пока" есть Совет Республики"; „съезд—это большевистская демагогия, которая бросает демократию в объятья контр-революции" и т. д. и т. д.,—так стрекотали всюду и везде те, которым уже не было, в сущности, места в великих классовых организациях рабочих и крестьян, воскресших к новой жизни среди бурь социальной битвы.

Кампания оборонцев против съезда была, однако, заранее обречена на полный провал всем ходом классовой борьбы, которая разгоралась с каждым днем все ярче и ярче. Помещики, купцы, промышленники уже телеграфно умоляли правительство о присылке артиллерии и воинских частей для усмирения крестьян,—правительство удовлетворяло их просьбы и циркулярно внушало своим комиссарам действовать „по всей строгости закона"; в Петербурге оно нагоняло со всех

сторон ударников и юнкеров; Ташкент и в особенности лево-эсэровский Ташкентский Совет стал постоянным предметом завоевательных стремлений Керенского-Коновалова; против финнов велась та же кампания насилия, и даже самый „демократичный“ из министров, Верховский, тайно отдавал приказы об аресте комиссаров Областного Комитета в случае их „противодействия“; государственный контролер, саботажник Смирнов, выступил уже с прямым нападением на все Советы, выработав проект их ревизии, точно это был полицейский участок при министерстве внутренних дел; в Минске закрыли популярнейший „Молот“, у латышей закрыли „Вольный Стрелок“; в назидание рабочему классу в тайниках министерских канцелярий вырабатывали уже закон о принудительном арбитраже, т. е. закон против стачек. Контр-революционные банды повели почти открыто антиеврейскую погромную пропаганду, против которой у правительства не находилось никаких мероприятий. Зато оно молчаливо одобрило расстрел русских солдат во Франции, вести о котором докатились и на родину, а затем отставило устами Терещенко Скобелева, которого Ц. И. К. посылал на поклон к союзным дипломатам с наказом, более чем умеренным: даже он казался уже не подходящим для теплой компании Терещенко-Маклакова-Алексеева!

А наряду с этим железнодорожники одерживают верх; всеобщая стачка в Баку ломает сопротивление капитала; выборы в московские районные думы дают блестящую победу большевикам, поднимая число их голосов с 11 до 50%; съезд Балтийского флота целиком высказывается за большевиков; весь московский район волнуется и кипит: бастуют кожевники, готовятся бастовать городские служащие, деревообделочники, текстильщики, металлисты; в Советах—коренная ломка старого: перевыборы сплошь дают большевиков; кое-где рабочие выходят на улицу и уже требуют, чтобы Советы от *слов* переходили к *делу*; наконец, циммервальдская конференция

и *восстание немецких матросов* подают новые надежды на движение по ту сторону окопов.

30 сентября прилетает известие о занятии немцами *Эзеля.* Затем получаются подробности морских боев, подробности, которые раскрывают новую чудовищную *международную провокацию на фронте.*

Выясняется, что английский флот спокойно давал гибнуть геройски шедшему в бой красному Балтийскому флоту. Выясняется, что правительство само отдавало распоряженне о снятии пушек, охранявших дорогу на Петербург *). Выясняется, что вождь малого совещания московских деятелей, недавно уличенный в мошеннических поставках болванок, Родзянко, в своем докладе почти требовал сдачи Петербурга и Кронштадта и восторгался расстрелами и „порядком", который навели в Риге шуцманы Вильгельма. Риги мало! Пусть уничтожат „развращенный флот"! Пусть гибнет Кронштадт! Долой Петербург! Лозунг правительства: „в *Москву!*" — стал ясным для всех: они бежали от революции, эти предатели, они *удирали*, как когда-то удирал Тьер из Парижа в Версаль. Что речь шла не о немецкой опасности — поведал не кто иной, как сам генерал Алексеев.

Теперь обнаружилась вся широта нового заговора. Пальчинский в Петербурге должен расправиться с рабочими, обостряя безработицу и „разгружая" город, превращая организованный пролетариат в хронических люмпенов, не способных ни к какому отпору; центры революции — Финляндия, Питер, Кронштадт, флот — пусть будут на худой конец уничтожены со всеми проклятыми Советами и Комитетами огнем немецких орудий при благожелательном нейтралитете „союзников"; правительство организуется в Москве рядом с малым совещанием на родине Коноваловых и Третьяковых; на Дону формируется „преданная армия" — такова

*) № 6 „Пролетарского Дела", Кронштадт.

была последняя отчаянная крупная ставка российского капитала.

Военные силы контр-революции мобилизовались, действительно, во-всю. Казачьи генералы ввели всеобщее ополчение, укрепили станицы, вооружались пулеметами и стали уже рассылать свои части в центральную Россию; офицеры тайно организовали сводные офицерские отряды; юнкера снова — как в корниловские дни — становились под ружье. Профессионалы-военные уже с гордостью говорили, что предстоит не корниловская „проба пера“, а нечто гораздо более значительное.

Правительство сделало жест налево, распустив Государственную Думу только для того, чтобы продолжать свою правую политику вообще. Оно стало, в сущности, руководящим центром казацко-кадетской контр-революции; оно уже восклицало: „Благословен грядый во имя Корнилова“, всячески провоцируя „бунт большевиков“.

Партия пролетариата понимала всю серьезность положения. Теперь речь уже не шла о демонстрациях или полудемонстрациях. Массы готовились к настоящему, не шуточному бою. На простую демонстрацию они бы не пошли. Все отлично понимали, что время слов, агитации, пропаганды, время подготовки уже проходит; нужно действовать, иначе нас сомнут — таково было почти суровое настроение масс. Никакой шумихи, никакого радостного и сентиментального возбуждения: деловые мысли, деловые слова, твердая решимость биться до конца, принять бой и вести его со всем напряжением *до гибели или до победы* — так думали, так чувствовали пролетарии, готовясь к схватке. Партия обсуждала вопрос о восстании; на крайнем правом фланге уже был поднят боевой флаг — нужно было поднять перчатку и немедленно перейти в наступление.

Первый выстрел был сделан контр-революцией: *казачьи части разгромили Калужский Совет.* Только по чистой случайности члены Совета не были расстреляны. Все подвергалось варварскому разгрому исключительно

потому, что волна народного недовольства поставила во главе Калужского Совета большевиков, на которых решили потренироваться казацкие войска во главе с комиссаром Временного Правительства и при благосклонном участии деятелей местной думы. И комиссар и эти „деятели“ оказались „эсэрами“. Первое слово предательства и убийства принадлежало им.

Калужские события заставили Советы быстро двинуться вперед. В это время в Петербурге Совет уже переходил на боевое положение: резкая резолюция против правительства означала, что военные действия близки. Кронштадтские матросы проклинали „жалкого Бонапарта“; Съезд Советов Северной Области прошел, как дружный и стройный парад революционной армии, съезд представителей 6-го армейского корпуса объявил о своем отказе в какой бы то ни было поддержке правительству Керенского и провозгласил необходимость Советской власти.

20 октября Петербургский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов постановил организовать Военно-Революционный Комитет. Центральный Комитет Балтийского флота, Финляндский Областной Комитет, фабрично-заводские комитеты, профессиональные союзы, Совет Крестьянских Депутатов Питера, партийная военная организация и т. д. послали туда своих представителей. Это был военный штаб новой революции и *восстания против империалистской диктатуры.*

А в то же самое время в „Совете Республики“ правая устраивала шумные овации генералу Алексееву, и апостол российского империализма, кадет Петр Струве, заявлял, что „за честное имя генерала Корнилова мы отдадим нашу жизнь“.

В Петербурге начинается открытая на глазах у всех подготовка к восстанию. Вооружаются рабочие. Вооружаются солдаты. Со всех сторон подтягиваются силы. Войсковые части, целые корпуса присылают приветствия и обещания поддержки. Съезд 5-й армии высказывается

за немедленный переход земли к крестьянам. С величайшим напряжением ждут разрешения кризиса, готовясь вмешаться в решительный момент.

Начало кладет конфликт между Военно-Революционным Комитетом и Штабом Округа, который отказывается признать полномочия Комитета.

Неизбежность столкновения делается очевидной для всех.

22 октября назначается „день Петербургского Совета“, который превращается в генеральный смотр революционных сил. Военно-Революционный Комитет предпринимает меры к охране города, назначает своих комиссаров во все воинские части и важнейшие пункты. Фактическое распоряжение военными силами переходит, таким образом, к Совету.

В ночь на *25 октября* революционные войска заняли вокзалы, почту, телеграф, Государственный Банк, Петербургское Телеграфное Агентство. Отдельные министры были арестованы. Еще в 6 часов вечера предыдущего дня Временное Правительство пыталось закрыть газету „Рабочий и Солдат“. А ночью часть этого правительства уже находилась под замком. Бонапартистская власть была низложена без кровопролития,—настолько дружен, строен и могуч был натиск рабочих и солдат, шедших в бой за *власть Советов.*

25 октября Троцкий, блестящий и мужественный трибун восстания, неутомимый и пламенный проповедник революции, от имени Военно-Революционного Комитета объявил в Петербургском Совете под громовые аплодисменты собравшихся о том, что „Временное Правительство больше не существует“. И, как живое доказательство этого факта, на трибуне появляется встречаемый бурной овацией Ленин, освобожденный из подполья новой революцией.

В 10 часов вечера открывается *Второй Всероссийский С‘езд Советов.* С первых же слов ясно, что оборонцам там не место. Господа положения в прежнем, они

покидают съезд теперь, за ними уходит и кучка „интернационалистов“ во главе с Мартовым, которые вдруг завопили о „насилии“ и „заговоре“. Тем дружнее прошли решения съезда.

Керенский ввел смертную казнь. Съезд отменил ее в первую голову. Керенский сажал в тюрьму членов земельных комитетов. Съезд выпустил на волю крестьян, рабочих, солдат, которые томились в застенках бонапартистского правительства. Декреты о *мире и о земле*, предлагавшие немедленные мирные переговоры и отдававшие землю крестьянам, были приняты с таким энтузиазмом, как никогда. Провозглашение *власти Советов* и избрание Совета Народных Комиссаров во главе *с Лениным* было встречено бурным восторгом со стороны рабочих и солдат и злобной, животной ненавистью со стороны обезумевшей от страха буржуазии. Ленин во главе русского правительства—разве это не должно было казаться светопреставлением всем „благонамеренным элементам“?

Если в *Петербурге* власть была захвачена почти без выстрелов, то в другом центре революции — в *Москве*— борьба была упорной и жестокой. Здесь отчетливее, чем где бы то ни было, проявились все классовые группировки, выяснились на деле, в процессе вооруженной борьбы, позиции классов, групп, партий, организаций. *Рабочие* во главе с партией пролетариата — на самом ответственном посту. *Солдаты,* весь гарнизон поголовно—в ногу с рабочими. Большевики и левые эсэры— по одну сторону баррикады. *Крупная буржуазия*, обыватели, правые эсэры и верхи меньшевистских организаций, генералы, офицеры, юнкера, казаки — по другую. Ружье против ружья! Пулемет против пулемета!

Московский пролетариат вступил в борьбу неподготовленным. Его целью была одна цель — поддержать петербургских товарищей. Погибнуть, но поддержать.

Сигнал восстания подала партия пролетариата, заняв вооруженными отрядами почтамт. Дальше события

развиваются головокружительно быстро. Образование Военно-Революционного комитета, занятие Кремля, сдача его, бои в центре и на окраинах; трагический момент, когда отряды юнкеров чуть не выбивают советские войска из центра, отпор им и, наконец, ускоренная огнем тяжелой артиллерии победа при грохоте осадных орудий, треске пулеметов и свисте ружейных пуль,— мелькали все эти сцены перед лицом „благочестивой" русской столицы, второй уже раз переживавшей революционное восстание...

Победа была одержана, благодаря исключительному героизму самих рабочих и солдат. Красногвардейцы дрались, как настоящие львы революции, с беззаветной преданностью, с мужеством, не знающим страха. Бок-о-бок с ними шли солдаты во главе с отрядом двинцев, ударным отрядом революции. Эти двинцы были заточены в прифронтовые тюрьмы, а потом в Бутырскую тюрьму эсэром Керенским. Они были выпущены московскими рабочими. И они поклялись биться до конца. Московская борьба была поистине борьбой самих масс, энергичных, находчивых, самодеятельных и храбрых, как могут быть храбры только сыны народа, сбрасывающие цепи рабства и угнетения.

Против народа дрались отряды юнкеров под командой эсэра полковника Рябцева. Общеорганизационным центром была *дума*, выдвинувшая контр-революционный „Комитет Спасения". Эсэр Руднев удачно дополнял эсэра Рябцева, создав и вооружив *белую гвардию* буржуазии.

Крупная буржуазия предпочла действовать из подполья. Ведь у нее были достаточно надежные агенты из бывших террористов!

Всего за несколько дней эти социал-предатели протестовали в Советах против Красной гвардии, потому что они, якобы, боялись „раскола между солдатами и рабочими". Теперь, когда солдаты и рабочие вместе стали проливать свою кровь, эти господа организовали

помещичьих и буржуазных сынков, направив их ружья и против солдат и против рабочих! Московский Совет *Солдатских* Депутатов, где большинство имели эсэры и меньшевики, заседая в одном здании с руководителями восставших пролетариев и крестьян, дал отборные кадры шпионов Керенского, которые следили, выдавали, предавали, а потом судили захваченных большевиков. Солдаты сместили его. Но „социалистические“ газеты соглашателей продолжали его дело. В самом начале выкинув „благородный“ лозунг: „Довольно кровопролития“, эти негодяи в сотнях тысяч экземпляров печатали лживые известия о том, что Керенский уже взял Петербург: им нужно было (ибо это нужно было *капиталу)* разбить силы рабочих и солдат не только силой белой гвардии, но и силой массовой лжи и клеветы.

Но слишком глубоко проникла ненависть к угнетателям. Москва была взята с бою. Но она была взята.

29 октября в Петербурге бывшие вожди мелкой буржуазии пытались поднять мятеж юнкеров. Мятеж был подавлен в несколько часов, а его организатор Гоц сбежал. Керенский, собрав остатки войск, двинулся было на Петербург. Но красные войска на-голову разбили его под Гатчиной, и он, который торжественно заявлял, что только через его труп перешагнут те, кто посмеет свергать коалицию, бежал позорно, как бежит трус и предатель.

Несмотря на вооруженное сопротивление, революция победила в важнейших центрах. Этим участь старой власти была решена. *Диктатура империалистов сменилась диктатурой пролетариата, поддержанного деревенской беднотой.* Дальше начинается ее натиск на врага, уже сдавшего свою главнейшую позицию, и героическая борьба с международным империализмом, борьба за уничтожение капитала, за активное проведение в жизнь *социалистического переустройства общества.*

Буржуазия делит все революции на „славные революции“ и „великие бунты“. „Славные революции“ —

это, когда рабочие и крестьяне тащут из огня своими руками каштаны для буржуазии; „великие бунты“— это, когда рабочие не хотят ограничиваться такой скромной ролью; это, когда они идут дальше границ, установленных капиталом. „Ни шагу дальше—говорит „славная революция“ пролетариату—власть и собственность принадлежат буржуазии“. „Вперед, за эту проклятую черту; вперед к социализму“—говорит „великий бунт“. Октябрьская революция была „великим бунтом“ для буржуазии. Но для пролетариата она была действительно славной революцией. В этом отношении между мартом и Октябрем лежит глубокая пропасть.

Мартовскую революцию вынуждены были „приветствовать“ все: она была „светлая“, в „чистых одеждах“, „лучезарная“, „бескровная“,—ибо она была *„общенациональной“*. Раз на нее наложили свой штемпель даже враги всяких революций—как же не быть ей доброй и хорошей? В глазах буржуазии мартовская революция была в конце концов приемлема потому, что она, свергнув диких помещиков, отдала власть империалистической буржуазии. С этим буржуа „мирились“. Тут для них освободительная роль революции была ясна: ведь это их в первую голову подняли на щит власти! Правда, они с первого дня чувствовали, что революция пойдет вперед, что нужно держать камень за пазухой; но, подготовляя веревку, они в то же время радостно улыбались, умилялись и плакали от „революционного энтузиазма“, внезапно обуявшего всех тех, кто еще за несколько дней выбрасывал лозунг: „Лучше поражение, чем революция“. Публицисты и поэты называли революцию Воскресением Христовым, ибо помещичья власть царя, давившая слегка на мозоль „торгово-промышленному классу“, была сброшена, и буржуазный Христос стал у власти обеими ногами. Вся „интеллигенция“, живущая подачками с барского стола, начиная от бывших солистов его величества и кончая беспардонной богемой, дружно аплодировала мартовской революции.

Совсем другой представлялась „образованному обществу“ рабочая революция в октябре. Бездушная, узкоклассовая, покрытая кровью, вандальская „без грана идеализма“, насильническая, заговорщическая, какая-то „контр-революционная“ революция — такой была в глазах капиталистических мародеров величайшая в мире революция пролетариата.

Капиталистическая собственность есть закон природы — это аксиома буржуазной революции, которая раскрепощает эту собственность с ее личным придатком от феодальных пут. Капиталистическая собственность подлежит уничтожению вместе с остатками феодализма— это аксиома пролетарской революции. Поэтому пролетарская революция есть отрицание буржуазного строя вообще. В буржуазной революции с общества снимается только его старая политическаа скорлупа: власть переходит из рук одной группы собственников в руки другой, из рук помещиков в руки буржуазии. Правда, так как буржуазия проделывает эту все же рискованную операцию руками рабочих, крестьян, мелкой буржуазии, то кое-что изменяется и в производственных отношениях. Но классовая монополия собственников остается незыблемой. Принципиально она не только не отменяется, но получает здесь свое капиталистическое обоснование.

Совсем другое — революция социалистическая: она есть революция производственных отношений, прежде всего. Ибо она не изменяет классовой монополизации средств производства со стороны кучки собственников, она *уничтожает* эту монополизацию. Это не есть перетасовка собственнических групп: это есть *экспроприация*.

Буржуазная революция теперь означает повторение пройденного Западом сто лет тому назад. Социалистическая революция—новый рычаг, который опрокидывает навзничь все сложившиеся отношения.

Победоносное восстание в октябре показало, что в России „социалистическая революция“ не только

возможна, но что она исторически *необходима.* Против сплоченных сил врага выступила многомиллионная масса, которая смела этого врага в главных центрах общественной жизни с легкостью, которой не ожидал никто. Пустые болтуны праздношатающейся „социалистической“ мысли, видящие свое историческое призвание в критике рабочего коммунизма, не понимали и не понимают, что уже самый факт победоносной диктатуры свидетельствует об исторической правомерности социалистического переворота. Но отставные вожди мелкой буржуазии во время героической борьбы способны лишь на одно „творчество“: изобретение новых бранных слов...

Великая Октябрьская революция, встреченная диким воем и скрежетом со стороны буржуазии, неминуемо должна была найти отклик среди западно-европейского пролетариата: первый раз за существование классовой борьбы пролетариата он твердой рукой взял государственную власть. Красный призрак коммунизма стал во весь свой гигантский рост. Европейская банкократия заметалась и засуетилась. Она жаждала окончательной расправы с российской буржуазией. У власти—ненавистнейшая партия, самая крайняя, самая последовательная, самая антикапиталистическая, самая революционная.

В пороховой погреб старой окровавленной Европы брошен факел русской социалистической революции. Она не умерла. Она живет. Она ширится. Она сольется неизбежно с великим победоносным восстанием *мирового пролетариата.*

СОДЕРЖАНИЕ

